

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ХРОНИКИ

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	3
Глава первая. АНГЛИЧАНЕ.	3
Глава вторая. МИКРОСКОП.	4
Глава третья. ИЗ БАКУ.....	11
Глава четвертая. СНЫ.	15
Глава пятая. АКАДЕМИК АВЕРИНЦЕВ.	18
Глава шестая. О ТВОРЧЕСТВЕ.....	20
Глава седьмая. МАМА ШАЙКИНА.....	22
Глава восьмая. КАПЕРСЫ.	25
Глава девятая. ТААМОН.....	27
Глава десятая. БОРИС ФЕДОРОВИЧ.	30
Глава одиннадцатая. БЕРИ ВЫШЕ.....	33
Глава двенадцатая. АРЬЕВ НЕ СОВРАЛ.....	36
Глава тринадцатая. КОВЕНСКАЯ ЕШИВА "ШАЛОМ".	39
Глава четырнадцатая. ВАН-ХУВЕН.....	42
Глава пятнадцатая. РУССКАЯ МАТЬ.	46
Глава шестнадцатая. "ЕВРЕИ В СССР", ИЛИ КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ.	48
Глава семнадцатая. СГОВОР.	51
Глава восемнадцатая. УКАЗ 512. ...	54
Глава девятнадцатая. КАНДИДАТЫ.....	54
Глава двадцатая. ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ?	58
Глава двадцать первая. ПРИ ДВЕРЯХ.	60
Глава двадцать вторая. БУФЕТЧИЦА ДРОНОВА.....	61
Глава двадцать третья. СНИМИТЕ ПЛАВКИ.	64
Глава двадцать четвертая. ПОСЛЕ СЕАНСА.	66
Глава двадцать пятая. РЫНОК МАХАНЕИ ИЕХУДА.	69
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	72
Глава первая. НА АНТРЕСОЛЯХ. ..	72
Глава вторая. АЛКА – ХРОМАЯ. ..	72
Глава третья. КИКО. (До конкурса шесть месяцев)	74

Глава четвертая. ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ.	76
Глава пятая. ТЕКУЧКА.	81
Глава шестая. РОДОСЛОВНАЯ.	83
Глава седьмая. ФОТОГРАФ.	84
Глава восьмая. ДОКТОР ЖИВАГО.	87
Глава девятая. ПОЧВЕННИКИ.	89
Глава десятая. ПРЕЙЗ ЗЕ ЛОРД.	91
Глава одиннадцатая. ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА ЦАРЯ ДАВИДА.	92
Глава двенадцатая. ПЬЕМ БУРБОН.	98
Глава тринадцатая. НА ЗЕМЛЕ.	99
Глава четырнадцатая. НОСТАЛЬГИЯ.	101
Глава пятнадцатая. БУХАРЕСТ. ..	103
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	104
Глава первая. ЕЕ НЕТ.	104
Глава вторая. ТИШЕ, Я - ЛЕША!	106
Глава третья. ИЕРУСАЛИМ НЕЗЕМНОЙ. (сценарий ко дню рождения патриарха)	108
Глава четвертая. СТАРЕЦ ХОЧЕТ ЮРУ. (до конкурса три месяца)	111
Глава пятая. СОЗВЕЗДИЕ БЛИЗНЕЦОВ.	113
Глава шестая. ЛЮБОВЬ.	114
Глава седьмая. ПИСЬМО.	116
Глава восьмая. ПОЭТ БЕЛКЕР-ЗАМОЙСКИЙ.	118
ЭПИЛОГ	121
I (Лярош Фуко)	121
II (Первый тур)	122
III (Страсти)	124
IV (Парад поэзии).....	125
V (Что такое поэзия)	126
VI (Заключительный тур)	127
VII (Голосование).....	130

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. АНГЛИЧАНЕ.

Я хочу быть богатым.

Хочу, чтоб из Москвы мне звонил Евтушенко и спрашивал, какая погода в Иерусалиме. Но мне никто не звонит. У меня даже нет телефона.

Мне надоело ходить в туфлях на шурупах. Раньше рядом со мной жил лысый англичанин. Он носил пиджак с серебряными пуговицами. Перед своим отъездом он сказал мне по секрету, что нужно написать на бумаге "Я достоин богатства" - и самому в это поверить. Я спросил, а можно не писать, а просто сказать устно. Но лысый уверял, что обязательно следует писать, а то потом можно отказаться, особенно если никто не слышал. Надо писать десять дней подряд на любой бумаге, и еще читать это вслух. И уже будет не отнекаться. Я так раньше не пробовал. Я говорил только: "Господи, ты испытал меня бедностью, теперь попробуй испытать меня богатством". Но до дела никогда реально не доходило.

Зашла "старуха под лестницей", попросила вернуть ей яйцо. Курд не должен никому насовсем давать яйца - может пропасть ребенок. А у нее оба сына в Америке, и оба невозвращенцы. Иногда от них приходит открытка.

Иногда другая соседка, сверху, приносит перловую кашу и индюшачье жаркое. Она призналась мне, что родилась на окраине Парижа. Врет. Марокканка чистых кровей.

По вечерам я стою возле окна и слежу за темным парадным напротив. Просто так. Я пробую всматриваться в будущее. Оно в густом тумане. Пустые бесконечные будни. Иногда мне снится женщина в шали, которая зовет меня по имени. Зимой мне снится страшный голый человек, идущий по шпалам. По серому снегу. У него тяжелый волосатый зад и необъятных размеров живот. Потом сны сливаются в один. Женщина шепчет мне: "Не бойся, мы берем тебя с собой", - и я в ужасе просыпаюсь.

Иногда я пью чай в пижаме, как пассажир поезда "Москва- Владивосток". Иногда начинаются дожди и зима, и я все время что-то пишу. Так идет год за годом. Так начинался мой последний год в Израиле – год "Иерусалимских хроник".

Аркадий Ионович от холода заболел эпидидимитом. Утром он приходил за чаем в синей пижаме с печатями. Эстер-американка обещала сшить ему бандаж для больного яичка. Она говорит, что никогда такого не шила, но попробует. Я ему говорю: "Что Вы ходите в ворованной пижаме?" Он говорит: "Это больничная пижама. Разве я не больной? Кто же тогда должен ходить в больничных пижамах?" Вчера вечером он не выдержал и украл у "Стемацких" книгу - "Главные мировые сражения Палладина". Она стоит семьдесят четыре шекеля, но там есть все сражения, начиная с греков. Пока он воровал книгу, боль прошла, но потом, когда он уже свернул с Яффо на улицу Кинг Джордж, боль вернулась. Аркадий Ионович уже несколько дней не пьет. Зато его постоялец-поляк приходит домой "попивший". Денег нет ни

у меня, ни у них. Я отослал поляку соленых огурцов. У меня стоит для него трехлитровая банка. Поляк говорит, что будем есть одни огурки. До конца мира есть одни огурки. В четверг Женя Арьев приглашал в ресторан на день рождения тещи. Было человек двадцать. Поговорили о художниках. Почему художникам могут удаваться ремесленные портреты, а ремесленных стихов хороших не написать. Арьев высморкался и сказал, что такие стихи мог писать каждый второй лицеист. А я сказал, что во всем Кюхельбекере нет и строчки поэзии. Тогда он взвился и обозвал меня малокультурным человеком. "В то время как Кюхельбекер в шестнадцать лет на семи мертвых языках проживал и нес всю историю мировой культуры, вы выдавливаете из себя триста страниц и в них десять строчек рассуждений. А вот вы возьмите Гессе! А? Понимаете?! У нас же самый лучший бытописатель, вроде современного Мамлеева или Лескова, мир не строит, а описывает быт. В отличие от Аксенова, который строит новый мир, которого до него раньше не было. Правда, делает это плохо". Он прав. У меня нету склонности рассуждать. Еще Арьев сообщил мне по секрету, что он влюбился в англичанку. Я ее там видел. Выглядит как английская молочница. Но потом сверкнет глазом, оживляется, открывает рот, и видно, что в Англию стоит прокатиться за невестой. Потому что в бровях есть какая-то особенная независимость, которой во всем остальном мире не наблюдается. Но должен быть какой-то уравнивающий эти брови боковой эффект. Типа - нет жопы. Потому что вряд ли это какая-то особенно полноценная генерация людей. Я сказал Арьеву, что серьезного секса в Англии тоже быть не может, а вместо этого какая-нибудь возня. Потому что в спальнях не топят и дикий холод. Он обиделся. Ну и черт с ним. Приглашают тебя в ресторан, и мало того, что заставляют самого платить, так еще требуют, чтобы взяли и первое, и второе. Вот тебе и Кюхельбекер.

Глава вторая. МИКРОСКОП.

Я проснулся от стука в дверь. По стуку было похоже, что еще рано и что это пьяный Аркадий Ионович. Он был полутрезв и привел с собой толстого художника из Хайфы, с которым они пили ночью в Неве-Якове. Но их выгнали из дома, где они пили, потому что художник пугал маму. Тогда они доехали до Иерусалима на поливальной машине и пришли пешком ко мне. Я не люблю, когда ко мне приходят в семь утра опохмеляться, и я сказал с кушетки, чтоб их духа собачьего рядом с моей дверью в такую рань больше не было, что я лег в три часа и что я понимаю, что у Аркадия Ионовича нет света и живет польский граф и еще китаец Хаим, но я не могу по утрам поить чаем всех китайцев на свете. И я не хочу в доме никаких незнакомых алкоголиков и не желаю ни с кем знакомиться. Тогда Аркадий Ионович мстительно сказал, чтобы я ему вернул тридцать шекелей, которые я брал третьего дня, и они пойдут пить чай в "Таамон". Мне пришлось встать, подойти к двери и сказать, в трусах, чтобы приходили в десять. Если бы я

пустил их пить чай, то день скорее всего прошел бы спокойнее.

Аркадий Ионович живет от меня за углом. У него на первом этаже из тюрьмы вернулся хозяин, и из-за этого нет воды. А газовые баллоны Шнайдер еще в прошлом году продал арабам.

Я пошел в банк, но по дороге вспомнил, что ничего Аркадию Ионовичу отдать не смогу, потому что сегодня двадцать восьмое. Это последний день платить банковскую ссуду, и денег никаких не осталось, даже минус. Возвращаться домой мне не хотелось, но я подумал, что они не придут, и ошибся. Они уже торчали под дверью. И оба еще немного вмазали. Мне, конечно, следовало по-честному сказать, что в кармане нет ни одной копейки и отдать деньги я не могу, но я застенялся, и вместо этого начал объяснять Аркадию Ионовичу, что в таком пьяном виде ему лучше долг не забирать, потому что все пропьет. Аркадий Ионович ничего не ответил, пожал плечами и немного от меня отстранился.

И из-за его спины вылез этот толстый монстр в черном. Он взял меня за шею и начал руками душить. Это, наверное, оттого, что я не пустил их утром, или у него были свои понятия о справедливости, и он был недоволен, что не отдадут тридцать шекелей. Меня никогда раньше не душили, но ничего особенного.

Он меня подушил и сказал, что если я хочу жить, чтобы сразу отдал все деньги. А потом отпустил мою шею и ударил кулаком в нос. И у меня потекла кровь. Аркадий Ионович сказал художнику, что "не надо", а я начал бить его ногами и три раза попал в печень и два раза сильно по яйцам. У него в руках была бутылка коньяка за четыре двадцать с отбитым горлышком, и мне ничего больше не пришлось в голову сделать, как его побить, потому что непонятно было, что он еще выкинет. Я бил его со всей силой, но он никак не реагировал и смотрел на меня с удивлением. Я видел такое раньше только в кино. У него был очень толстый живот, и нога там увязла. Я к нему не испытывал никакой злости, но было противно, что из носа течет кровь. Когда я кончил бить, он еще подождал секунду. Потом швырнул в меня бутылкой и попал. "Ты знаешь, сука, что я с тобой сделаю? - спросил он. - Попишу! Распрыгался шмок! Я же сто двадцать килограммов вешу. Я же, блядь, с Арбата!" С этими словами он пошел животом вперед и больно прижал меня к лестнице.

Но как-то мы все-таки расцепились, потому что за его спиной стала орать старуха-соседка, жена кукурузника с Агриппаса. И они ушли. Толстый художник обозвал старуху пиздой и шармутой, но она успела от него запереться. Он только подергал дверь так, что ее маленький одноэтажный домик заходил ходуном.

Пора было Аркадию Ионовичу тоже отказать от дома, но у меня не получалось. Когда у него проходил запой, он оставался моим единственным нормальным собеседником. Но у него все время кто-то жил. Сначала жили Борис Федорович и Шнайдер и продали обстановку арабам. И Аркадий Ионович вынужден был их выгнать. Потом жил Мулерман, который подсматривал за проститутками. Вообще-то, он был Сипягин, но он сделал

пластическую операцию на носу и взял фамилию жены. И вот сейчас жил Хаим из Харбина и еще польский граф. Он напивался и кричал по-русски: "Сейчас буду тебе стрелить по морде!" Аркадий Ионович где-то находил их перед зимой, а затем постепенно переезжал ко мне, и мы совещались, что же делать дальше.

А сейчас уже третью неделю у него жил еще и сам Шнайдер, которого выпустили из тюрьмы "Джамала" за то, что он украл в хасидской ешиве черный пиджак с долларами. Подумали на него, потому что он приходил в этот день просить у ковенцев на водку. Он там раньше учился, но Фишер его выгнал за то, что он продал арабам холодильник. У него была страсть все продавать арабам. Аркадий Ионович встретил Шнайдера во время прошлого запоя на базаре. И они пошли в бухарский садик, чтобы выпить за освобождение. Хотя это было абсолютно неудачное время освобождаться: никакого жилья у него не было, и больше одной-двух иерусалимских зим на улице ему было уже не выдержать. По утрам Шнайдер очень опухал, и у него стали болеть колени. Спать в трущобах действительно было холодно.

После тюрьмы ему полагались какие-то льготы, но нужно было много ходить по социальным отделам, стоять в очередях. А он пил каждый день, кроме тех дней, когда сидел в тюрьме, и у него не хватало терпения. На работу без постоянного жилья тоже было никуда не устроиться. Да и смысла особенного не было: он выходил по утрам на Яффо и за полчаса мог настрелять шекелей двадцать. Шнайдер всем объяснял, что он бывший офицер Советской Армии, только что освободился из тюрьмы и ему нужно два шекеля на водку. Но чтобы дали адрес - он потом занесет. Ему все говорили, что не нужно заносить. Может быть, из двадцати - человека три только не давали. А работать за полтора шекеля в час сторожем он не мог настроиться.

Когда они выпили за освобождение, Аркадий Ионович вежливо спросил: "Ты где жить устроился?" А Шнайдер ему ответил: "Да у тебя!" Но безо всякой издевки, не как Коровьев. Просто Аркадий Ионович несколько суток пил и домой не возвращался, а квартира у него стояла открытой. Там все равно нечего было брать после того, как все продали старьевщикам. Я один раз приладил ему замок на бронзовой цепи и еще купил старую настольную лампу, когда он целый месяц не пил, пока делал хронологическую таблицу ко второму тому истории Карамзина и дошел до сыновей Всеволода Большое Гнездо. Таблица получилась очень хорошей, не только с прямыми ветками, но и со всеми племянниками и с половцами, но он ее забыл в сорок восьмом автобусе, когда ездил поступать на курсы гостиничных работников, и на цепь больше не закрывали.

На этот раз Шнайдер вел себя очень хорошо, и его не за что было прогнать. Он даже украл Аркадию Ионовичу настоящую кожаную куртку с целой подкладкой и устроился на работу сторожем. Утром он шел на "прострел", потом покупал в Машбуре хорошие продукты: колбасу, зельц, бирмингемский шоколад или копченую курицу и две бутылки водки. И его увозили на работу. У них была большая нехватка сторожей, а Шнайдер после

тюрьмы очень поправился, и у него была бородка клинышком, а арабов на этот объект брать было нельзя. Из-за какой-то лаборатории, которую арабам сторожить не доверяли.

Пока что я вымел осколки стекла с лестницы и смыл коньяк двумя ведрами воды. Все равно остался очень сильный коньячный дух, так что меня стало от него мутить. Я открыл двери и окна настежь - проветриться. И стал застирывать рубашки от крови индийским стиральным порошком "амбрелла", который мне отдала моя ученица перед отъездом в Америку. Она привезла в Израиль очень много этого порошка и за семь лет не смогла его истратить. И еще мне оставила восемнадцать пачек, но одна была неполной. А в Америку она решила его уже не брать.

Когда я застирал рубашку и пошел ее вешать, они опять стояли в дверях. Я оглянулся, ища, что было под руками. Теперь этого толстого придется убивать, за что - непонятно, а другого выхода не было. У меня и так весь день был неприятный осадок, что я его так сильно колотил по яйцам, а он не падал. Но мои гости стояли перед дверью оба очень растроганные и смущенные. Толстого художника, оказалось, звали Беней. Он действительно оказался с Арбата. Очень там крепкие ребята, на Арбате, я этого раньше недооценивал. Бенья сказал: "Слушай, мы, кажется, дрались, и ты меня так больно бил по яйцам. Нехорошо как".

И мы с ним безо всяких задних мыслей расцеловались, и я обещал через десять минут прийти к ним выпить. Но через десять минут у меня не получилось.

Я вообще не очень собирался туда идти и тянул время. Часа через два за мной пришел Аркадий Ионович снова приглашать, сказав, что ребята все обижаются. И чтоб я принес кастрюлю с горячей водой для чая. Но когда Аркадий Ионович шел от меня обратно, то с работы возвратился кукурузник с Агриппаса, довольно крепкий курд лет шестидесяти пяти, и его уже подстерегал. Он торгует на углу Агриппаса и Кинг Джордж горячей кукурузой и каштанами и возит каждый день, кроме шабата, туда и обратно тяжелую железную тележку, в которой он все это варит. Я два раза помогал ему толкать тележку домой, и она довольно увесистая. Если ее возить два раза в день, то в шестьдесят пять лет еще прекрасно чувствуешь себя мужчиной. Кукурузник встретил Аркадия Ионовича палкой с гвоздем и стал бить его за жену по голове. Аркадий Ионович сначала только защищался, но кукурузник вошел в раж и насквозь пробил гвоздем ворованную кожаную куртку, которой Аркадий Ионович очень гордился. Тогда Аркадий Ионович тоже дал ему два раза в зубы, так что кукурузник упал и побежал вызывать полицию.

У Аркадия Ионовича, когда я пришел, выпивала целая компания. Был Шнайдер, и еще кто-то спал. С толстым художником Беней мы обменялись рукопожатиями, и он меня еще немного помял.

А я стал, чтобы не молчать, противно советовать, что делать, если ты спокойно приходишь в собственный дом и вдруг через три минуты получаешь по морде. Нужно на это отвечать или нет? Почему-то меня

потянуло на психологические вопросы. Толстый со Шнайдером задумались. Аркадий Ионович был уже очень сильно пьян и все время смеялся.

- Слушай, монах, - сказал Шнайдер, - тебе не нужен микроскоп? Почти новый?

Я редко ходил к ним на квартиру, чтобы Шнайдера не приваживать, но я знал, что вчера Шнайдер утащил из лаборатории, которую он сторожил, очень хороший цейсовский микроскоп и дипломатку с линзами. Кожаную куртку, в которой Аркадия Ионовича встретил кукурузник, он тоже утащил с работы, но раньше. Было довольно странно, что еще никто не хватился. Я представлял себе, что черт с ней, с курткой, но приходит кто-то утром на работу работать на цейсовском микроскопе, а его нет, его украл сторож. И человек, конечно, должен хватиться. Аркадий Ионович уже предлагал мне купить микроскоп у Шнайдера за двадцать пять шекелей, но у меня не было денег, и я решил не связываться с ворованным. Но мне тоже всегда хотелось иметь микроскоп, и я понимал, в принципе, почему Шнайдер его украл, потому что в деньгах у него большой нужды не было. Мне налили бренди, и я с ним два раза выпил и поел маслин. Про микроскоп я ничего ответить не успел - как раз в этот момент в комнату вошли один за другим четверо полицейских. Все четверо были полные израильтяне, индекс двести. Один был поменьше ростом и в штатском. "Который Шнайдер?" - спросил в штатском. "Ну я", - сказал Шнайдер, не обращая на них особенного внимания. Он в этот момент открывал пачку апельсиновых вафель. Это одни из самых лучших вафель в Израиле. Если вы когда-нибудь были в Ленинграде в конце пятидесятых годов, то должны помнить, что на Финляндском вокзале продавались треугольные вафли с невероятно похожим вкусом. Они назывались "школьные". Я еще раньше замечал, что у Шнайдера очень тонкий вкус на продукты. Если он что-нибудь покупал, то это был действительно первый сорт.

"Вы арестованы, - сказал в штатском. - Где микроскоп?" Если бы не спящий китаец Хаим, то мы были бы очень похожи на сцену из экранизации "Трех мушкетеров", которую я недавно посмотрел по иорданскому каналу: граф Рошфор приходит с тремя полицейскими, а Портос, тоже килограммов под сто двадцать, бьет его скамейкой, а потом д'Артаньян с графом Рошфором сражаются на льду и ругаются по-арабски. Я вообще раньше не помнил такой сцены у Дюма, и там точно не было никаких китайцев.

"Какой микроскоп, - сказал пьяно Шнайдер, - я не знаю, какой микроскоп! Пузо, скажи им!" - добавил он Портосу.

"Обыщите этих людей и весь дом!" - сказал в штатском. Собственно, обыскивать у Аркадия Ионовича можно было только: кровати, два метра кухня и шкаф.

"Вы в шкафу посмотрите! - нагло сказал Портос. - Нету у него никаких микроскопов".

Полицейский открыл шкаф и вытащил оттуда несколько скомканных детских курточек. Одну я узнал: несколько дней назад она пропала у соседки с веревки.

"Скажи, Шнайдер, где цейсовский микроскоп?! - снова сказал в штатском. - Хевре, забирайте его".

Тогда Шнайдер сказал, что он не может ехать с полицейскими, что ему надо на работу, сторожить. Но в штатском ему ответил, чтобы он не беспокоился, что уже ничего сторожить не надо. Было слышно, как они на него орут на лестнице и заталкивают в машину. Аркадий Ионович и Портос вышли на лестницу, чтобы посмотреть, как Шнайдера увозят, но домой после этого они уже не возвращались: во двор навстречу полицейскому фургону со Шнайдером въехал еще один полицейский фургон, который вызвал кукурузник с Агриппаса. Портос сразу исчез. Он не стал дожидаться, пока машины обменяются приветствиями, спустился по лестнице и исчез.

А Аркадия Ионовича и кукурузника с Агриппаса повезли на Русское подворье разбираться. Кукурузник очень не хотел ехать, а Аркадий Ионович не хотел ехать без кукурузника, и их обоих затащили в машину силой.

Я допил бренди из чашки и съел еще несколько маслин. В комнате было темновато. Лежало несколько шабатных свечек, на которых Шнайдер пек яйца, если ему хотелось поесть горячего. За диваном, на котором все еще спал китаец, были сложены пустые бутылки с праздничными золотыми наклейками. Еще в комнате был одностворчатый шкаф "Шалом" и две железные сохнутовские кровати, еще очень хорошие. Детские вещи из шкафа полицейский бросил на пол, а сам шкаф "Шалом" стоял нараспашку, и я старался в него даже не смотреть: посреди всего мушкетерского хлама, в центре шкафа, на ворованных с веревок синтетических кофточках задумчиво стоял огромный западногерманский микроскоп с длинным беленьким тубусом. Полицейские его тоже видели. Его нельзя было не увидеть. Видимо, полицейские не знали точно, что они ищут, или им еще не приходилось в своей практике сталкиваться с кражами микроскопов.

Я машинально ел маслины и думал, что с микроскопом нужно что-то делать. Если в полицейском управлении в конце концов разберутся, как выглядит микроскоп, то мало того, что Шнайдер снова получит свои полтора года, с которых ему скостят треть за примерное поведение, но еще и Аркадий Ионович, который точно обещал, что бросит пить и станет администратором гостиницы, получит какой-нибудь условный срок, а все из-за того, что я тут сижу, ем их ворованные маслины и не могу принять мужское решение.

Я осторожно завернул микроскоп в два махровых полотенца и выглянул из квартиры на улицу. Около синагоги все еще стояла большая толпа возбужденных курдов, которым жена кукурузника что-то громко рассказывала. Я свернул в противоположную сторону и пошел переулочками круглым путем до дома. Я крался по самой стеночке, и меня, кажется, никто не заметил. Я решил спрятать его в диван, где у меня лежало ватное одеяло, которое уже наполовину сожрали мыши. Мне их было не переловить, потому что я не люблю кошек, а в мышеловку попадались только самые активные, а те, которые не попадались, очень быстро рожали новых, и они снова начинали грызть это одеяло.

Но когда я стал распеленывать микроскоп, я вдруг со всей хрустальной

ясностью понял, что я ошибся и забирать его не следовало. Полицейские его точно видели. Теперь, если они увидят его фотографию, то они его вспомнят. У Аркадия Ионовича есть стопроцентное алиби: он никак не мог перепрятать микроскоп, сидя у них в полиции. И взять его мог только я или спящий китаец, которого они даже не заметили среди бутылок. Надо было нести его обратно.

Я снова завернул микроскоп в полотенца и понес его обратно, но внести его в квартиру Аркадия Ионовича было уже нельзя: еще внизу я услышал, что в его квартире кто-то громко разговаривает на иврите. Поздно.

Оставалось его зарыть. Вокруг было полно таких домов, в которых можно зарыть. Эти дома скупает городское управление: заброшенные или после пожаров, в них иногда ночевал Шнайдер, когда у Аркадия Ионовича бывали приличные гости. Шнайдер хранил там матрац, который собственно и был его единственным достоянием, и я ему даже завидовал - сам я обязательно начинаю обрастать вещами, которые жалко выбросить. Еще у него было много мужских заграничных паспортов, которые он прятал в разные щели, я сам видел паспорт на имя Ван-Дейка, но ими совершенно нельзя было пользоваться, потому что, когда Шнайдер предъявлял паспорт и кредитную карточку в любом, даже арабском, магазине, всем сразу же становилось понятно, что это не Ван-Дейк. Сам Шнайдер очень быстро забывал, где у него хранятся паспорта. Я вообще не видел в своей жизни второго такого человека, у которого настолько бы отсутствовала память. Я нисколько не сомневался, что он уже начисто забыл, куда он спрятал этот микроскоп.

И вот в таком заброшенном дворе микроскоп можно было спрятать и забросать мусором.

Надо было мне их утром впустить. Попили бы чаю, и ничего, я бы от этого не умер. Может быть, толстый художник не стал бы гоняться за женой кукурузника, не бей я его так больно по яйцам. У него на это могла быть реакция. Очень мне надо сидеть тут и копать, как Раскольникову, в этом мусоре! Еще я ругал себя за то, что не заступился сейчас за Аркадия Ионовича и дал его увезти живым в тюрьму. Я уговаривал себя, что у него только начался запой и в участке его полечат, но на самом деле главной причиной было то, что иногда я страшно тщеславен, и мне не хотелось, чтобы сразу все соседские курды видели, как я якшаюсь с деклассированными элементами.

Но скоро выяснилось, что я слишком драматизировал события: когда я вернулся домой, у меня на диване сидел довольный Аркадий Ионович и прямо светился от счастья. "Не будьте таким идиотом, - сказал он, когда услышал, что я спрятал микроскоп. - Теперь, когда эти балбесы меня отпустили, подозрения снова падают на меня! Кто вас вообще просил вмешиваться? Срочно отойдите отсюда и отнесите ко мне. Никто там не разговаривает. Я только что оттуда. Это Шлема Рубинфайн вернулся из сумасшедшего дома на выходные".

У нас такой район, что половина соседей откуда-нибудь вернулась.

- Слушайте, а может быть, микроскоп отнести Зафрану? - спросил я.

- Он - астроном. Зачем ему микроскоп? Смотреть на звезды?

- Шуре еще можно отнести. Они приличные люди. Работают в патентном бюро.

- Не надо никому ничего носить. Отнесите микроскоп на место и постарайтесь разбудить китайца. Не нужно нам лишних свидетелей. Я узнал, что на Шнайдера поступило три заявления с точным перечнем всего, что он украл. Пусть его посадят, что вам за дело? Отдохнет от питья, а я хоть смогу помыть в квартире пол. Несите, несите. И закройте его какой-нибудь тряпкой, чтобы его кто-нибудь по ошибке не украл. Я вернусь дней через пять, когда тут все уляжется. У вас действительно нет денег? Ладно, ладно, не кричите на меня.

Аркадий Ионович ушел. А я прочитал про себя детскую считалочку, чтобы успокоиться, почему-то побрился и снова через забор полез за микроскопом.

Глава третья. ИЗ БАКУ.

Дул пронизывающий ветер. Днем шел дождь со снегом, и теперь на тротуарах хлюпала грязь. Я вышел на улицу и сразу зачерпнул полный ботинок. В магазине моего хозяина горел свет, и я прошел мимо, не оборачиваясь.

Я весь день ничего не пил. Как-то все время не получалось. Ближе всего было зайти к Борису Федоровичу Усвяцову, если он в такой холод заночевал на Агриппас. У Бориса Федоровича было два места, где он сейчас мог находиться: в подвале старого Английского госпиталя или в развалинах за "Машбиром", где в разрушенном доме стояла комната с проволоочной кроватью и было посветлее. С ним вместе сейчас жил Шиллер, парнишка из белорусского местечка, который сильно пил и вел полубродячий образ жизни. Я покричал снизу, но никто не откликнулся. Наверное, они спали мертвецким сном или еще не вернулись. Забрать Бориса Федоровича не могли: в зимние месяцы он мало бывал трезвым, его обыскивали прямо в машине и сразу отпускали, чтобы не возиться. Кажется, я стоял в воде. Если комнату в такой ливень залило, Борис Федорович мог увести Шиллера в госпиталь.

Я нерешительно потоптался у развалин. Мне очень хотелось в забегаловку, которая называлась "Таамон", или "щель". Я еще раз порылся в карманах. У меня совершенно не было наличных денег, а в долг мне там давно не записывали. Я побрел наверх по Штрауса и за Национальной больницей свернул к Старому городу. В пятистах метрах оттуда собиралась небольшая компания верующих, в которую я ходил клянуть деньги, когда был трезвым.

У больницы мне кто-то свистнул. Я удивленно поднял голову. Стояла черная баба в белом халате, ловила под дождем такси. Мне почудилось на ходу, что мир кончился и я остался вдвоем на свете с этой промокшей черной медсестрой. У меня всегда мелькают такие мысли перед тем, как я захожу в

церковь. Дождь идет страшный. Сейчас она уедет в такси, и в пустом мире мне ее будет уже не отыскать. Обычная американка по лимиту, только с толстыми губами и черная. Пока я добирался до церкви, проповедь кончилась. Все уже помолились. В конце службы они танцевали джигу и накладывали друг на друга руки. Происходили эти приплясы в старой пресвитерианской церкви. Внутри было неплохо, светло и стоял рояль. Дочь пастора много лет бочком играла на нем гимны. Шли прощальные службы. Паства разъезжалась. Кто мог, уезжал сам. У пастора виза была до осени, и её уже не продлевали.

У меня ужасно замерзли ноги.

Оба ботинка протекали: в левом особенных дыр не было, но подошва стала совсем тонкой, я прожег ее на керосиновом тануре. Самое время было снять ботинки и посушить ноги, но я никак не мог решиться. Пастор ничего бы не сказал, но я знал, как ему неприятно это видеть.

Пока я грелся, народу в церкви осталось очень мало. Пастор озабоченно подбежал ко мне и выслушал внимательно, но денег не дал. "Почему вы не работаете? - спросил он, покачивая головой. - Вас же ни одна страна не примет!"

Я ему уже сто раз объяснял, почему я не работаю. Он мог бы уже и запомнить. Я уже сам запомнил. Я промолчал. Ничего не ответил, только постарался подальше вытащить палец из ботинка, чтобы его разжалобить.

- У меня для вас сюрприз, - сообщил мне пастор, - вас ждет один русский верующий. Он говорит... слушайте, мне даже неловко повторять.

- Верующий? - переспросил я с сомнением.

- Русский еврей! Он жалуется, что за ним гоняется наемный убийца. Можете себе такое вообразить? Вы не могли бы оказать ему духовную поддержку? - пастор повел меня по проходу между скамьями. - Я плохо понимаю, чего он хочет. "Наверное, он тоже хочет денег, - прошепел я по-русски, - на хер ему духовная поддержка". Пастор оглянулся на меня подозрительно.

На одной из задних лавок сидел мрачный человек. Но сначала я разглядел клеенчатую сумку и довольно приличный чемоданчик, а потом уже небритого монстра в кожаной кепке и потертом пальто. Конец света! Я решил, что нахожусь на вокзале в Бологом. Не хватало только портрета Хрущева с бородавкой.

"Ты что так поздно?" - спросил он с сильным кавказским акцентом. С таким сильным, что я даже замялся. "Я вас не помню, мы точно ли знакомы?" Он недовольно пожал плечами: "Я так, - хмыкнул он, - я кавказский человек. Да ладно ты, садись".

- Вы обязательно должны ему помочь! Я думаю, что вы поймете друг друга. Он говорит, что в прошлом году его тайно крестили, - тараторил пастор, - поверьте, я глубоко озабочен его судьбой. И ничего не в состоянии понять. Может быть, он не совсем здоров. Вызовите хорошего врача!

"Ага, разбежался!" - злобно подумал я.

- Обязательно надо денег, - пробормотал мне грузин, - этот мудака ничего не

дал. Тебе тоже не дал?

На руке грузина была намотана тряпочка. Не бинт, а домашняя тряпочка с желтыми кофейными краями или йодом. Пастор не отходил. Делал вежливые щеки и ждал, чем вся эта история кончится.

Пасторша с высоким блестящим лбом и красивыми чуть навывкате глазами начала грустно, по одной, выключать люстры в главной зале. Потолки были необыкновенно высокими. Как в настоящей церкви. Они меня раньше приглашали к себе обедать - хрусталь, печеный картофель, ванильное мороженое, и в этом духе. Я ходил даже не подкормиться, а из любопытства. Пастор был еще довольно энергичным миссионером и все время шутил. Пасторы спят со своими женами только в миссионерских позах. Черт знает что приходит в голову, когда думаешь о красивых пасторшах.

"Я из Баку, - сказал мне грузин, - в плохую историю попал". Он почмокал. Потом сморщил нос и внимательно на меня взглянул. Казалось, что он прикидывает мне цену.

- Слушай, - прибавил он светски, - у тебя нельзя пожить? Я тебе нормально заплачу. Домой нельзя прийти - зарежут. Мамой клянусь.

"Сволочь пастор, - подумал я, - денег не дал ни копейки и подсунул мне сумасшедшего грузина!"

- Какой у вас индекс? - на всякий случай спросил я.

- Девятнадцать, - неохотно сказал грузин. Я начал разглядывать громадные армейские ботинки на его ногах и соображал, что ему ответить. Девятнадцать - это самый низкий индекс, который дают еврею, но все-таки с ним не высылают. Нужно набраться смелости, пока еще не поздно, и сказать, что со мной пожить нельзя! Я вообще не желаю, чтоб мне подсовывали таких типов! С одним зубом! Меня всегда раздражали люди, которые хотели со мной пожить. Потом его будет не выгнать. И он пах. Собственно, все симпатичные люди, которых я встречал за свою жизнь, не пахли. Или я мог в конце концов привыкнуть. А он пах так, что мне не привыкнуть.

- Понимаете, - я старался говорить с ним самым задушевным голосом, - я принять вас не смогу. Я никого не могу к себе брать, я в этом году не аттестован. И еще я очень занят. Но я постараюсь устроить вас жить у одного своего знакомого. Вас никто не зарежет, не волнуйтесь. Приходите к нему завтра, я постараюсь договориться. Без удобств, но не выгонят.

- А сегодня? - спросил он очень угрюмо. - Я не могу возвращаться домой за вещами! И у меня кот. - Он показал глазами на черную сумку.

Пастор лобызался у дверей с последней английской парой. В день четвертый они навсегда отбывали в Лондон.

- На сегодня попроситесь к пастору, - сказал я мстительно, - скажите, что точно знаете, что у него тут пустует комната в подвале. А насчет кота я спрошу.

Я оставил ему адрес и вышел из церкви, не прощаясь.

Дождь совсем кончился. Вода лилась по улицам откуда-то потоками. Целые реки спускались вниз по Яффо. Я поднялся по темным улицам прямо к рынку. На улицах не было ни единой души. Мне очень хотелось есть. У

входа на крытый рынок несколько замерзших лимитных арабов разгружали грузовик с огурцами. Я взял один. Потер его носовым платком. И рассеянно прошел по пустому рынку. Я думал только о еде. О том, чтобы где-нибудь основательно нажраться. Кое-где еще работали ресторанчики и из полуоткрытых дверей доносился пронзительный запах паленого.

По пути еще следовало зайти к Аркадию Ионовичу и предупредить его о новом постояльце. Моего соседа опять где-то носило. На курсы его уже почти взяли, но необходимо было принести справку из полиции, а за последние месяцы Аркадий Ионович был там раз двенадцать. Он очень хорошо аттестовался в "Национальном бюро" и теперь везде сорил липовыми чеками - из какой-то своей старой чековой книжки. Даже в магазине Миллера он не удержался и расплатился таким чеком. Он купил там пленку Вилли Токарева на одной стороне, а на другой было записано всего три песни, и одна из них, про "Поручик Голицын, готовьте патроны", вообще начиналась с середины. Но на пленке был штемпель "нееврейская тематика", и Миллер просил за нее девять долларов. И был страшно недоволен, что ему подсунули чек без покрытия.

Кроме того, требовалась справка от врача из Национальной поликлиники и просили сбрить бороду. Я думаю, что справку от врача Аркадий Ионович в принципе достать тоже мог, потому что с молодости был невероятно физически выносливым. В последние годы он мог запросто выпить до двух литров финской водки в день, но, конечно, после национального указа финская водка подорожала в семь раз, и на два литра в день никаких денег хватить не могло. И так он пил в течение пяти дней, иногда даже шести, но на шестой день наступал приступ язвы и его начинало сильно рвать с кровью. Но вот сбривать бороду Аркадий Ионович не хотел ни за что на свете. Тем более, что из-за этой бороды его чуть не взяли швейцаром в американский дом, где жило несколько миллионеров. И американцы не хотели, чтобы к ним в дом шлялись посторонние, не американцы. Аркадий Ионович познакомился с одним из миллионеров, когда вместе со Шнайдером просил на улице Кинг Джордж Пятый на финскую водку - тот дал ровно шекель пятьдесят и визитную карточку и обещал взять па работу швейцаром, но пока тянул.

Я поднялся по крутой наружной лестнице и тихо постучался. Замка на дверях не было, но долго никто не открывал. Я прислушался, потом несколько раз ударил в дверь кулаком. Наконец Аркадий Ионович, близоруко щурясь, открыл мне на цепочку.

"Кто это? - проворчал он. - Ночь уже. Я только что заснул".

Я коротко рассказал ему про грузина.

"Почему вы сами не берете? - спросил он ядовито. - Знаю, чем вы заняты. Вы совершенно не способны совершать бескорыстные поступки. Какой у него индекс?"

- Девятнадцать, - пробормотал я. Он присвистнул: "Как же его фамилия?"

- Рафаэлов или Габриэлов, - с трудом я заставил себя вспомнить.

- Конечно, я его знаю, - оживился Аркадий Ионович. Он не был пьяным, но

от него все-таки сильно несло водкой. - Нищий Габриэлов из Баку! Борин коллега! Где вы его выкопали?

- Его должны зарезать, - сказал я нервно, - я вас в первый и последний раз прошу о таком одолжении. Хотите, я у вас заберу графа? И следующего тоже возьму я. Серьезно. Там такие ручки на улице - у меня полное пальто воды. Спрячьте его на неделю! Ну что мне, на колени перед вами вставать?

- Да кончайте вы свою истерику, - сказал Аркадий Ионович, - знаю я, какой он христианин. Он мне тут за неделю все загадит. Он мусульман! На свой куйрам-байран лупит себя по чем свет стоит. Настоящий дикий мусульман. Шляется в мечети просить деньги. Немудрено, что его хотят зарезать. Он целый месяц жил в ешиве у Фишера. Фишер еле от него избавился. Сказал, что он не может держать у себя крещеных мусульман. Но с котами я не возьму. Это я вас предупреждаю. У меня искривлена носовая перегородка. От котов я начинаю задыхаться.

Все-таки мне удалось договориться, что грузин придет к нему утром. Перед сном я выпил рюмку водки, чтобы уснуть. Катастрофически не было денег. Утром попытаюсь продать хозяину стерео. Новое оно стоило четыреста, но я готов был отдать в счет квартирной платы. Все думают, что мой хозяин бухар. Его фамилия Магзумов. Он не бухар. Отец был бухар. И он сильно пьет. Тут все пьют. По утрам он оставляет в лавке старого деда, а сам пьет, шляется по жильцам и собирает с них деньги. Его дед тоже Магзумов. Тоже бухар. Тут все бухары.

Глава четвертая. СНЫ.

Жизнь надо поскорее заспать. Проспать ее, закрывшись с головой одеялом, чтобы ничего не слышать. Выползать на свет только по необходимости. Но припрется нищий Габриэлов и будет, сволочь, будить. Пить с ним невозможно. С Аркадием Ионовичем тоже вместе пить нельзя. У нас не совпадают глобальные цели. Мне часто надо выпить только каплю, самую малость. Только чтоб началось. Если есть женщина, то для прозы вообще можно не пить. Трезвым я ничего написать не могу. Даже хроники, а уж ниже рангом прозы не бывает. А что еще сегодня можно писать? От быта всех тошнит. Бабы? Какие, к черту, бабы. Об убийстве пишут романтики. Есть две главные разновидности: убийство из ревности и есть еще убийство из жадности. Так вот - бульк - и утопить кого-то, потому что ты хочешь повысить свой жизненный уровень. Но если я попытаюсь описать убийство из ревности, то у меня тоже получается суховато. Потому что мне не мерещатся летучие мыши, и половой аппарат в моей картине мира мало отличается от органов слуха. Про половой аппарат ни для кого уже нет никаких тайн. Ну кого сейчас может заинтересовать факт, что двое взрослых людей ложатся вместе в постель. Об этом хочется знать как можно меньше. Хорошо утром пить анисовую водку с теплой булочкой и потом снова спать.

Когда я сплю, меня не преследуют убийства из ревности. Мне снятся русые волосы до попы. Соболиным крылом. Руки в вязаных варежках. Женщина в двадцать лет по имени Катерина. Черт ее знает, как ее теперь зовут. Отличница с химфака. Еврейский индекс - ноль. Мне снятся удивительно пошлые сны. У меня такой художественный вкус. Мне может присниться Алла Пугачева и еще какая-нибудь чушь, что зимой она ходит без шерстяных рейтуз и от мороза у нее краснеют бедра. Но все-таки чаще всего я понимаю, что это все та же малохолдная женщина, которую я любил. И сон всегда не стопроцентный, а с каким-нибудь дефектом. То есть, если в постели, то у нее никогда не туманятся глаза и она раздраженно на меня смотрит. Или снится Алушта. Я приезжал к ней в Алушту. Почему-то за этим все ездят в Алушту. Она была не одна. И с сомнением сказала мне, что, в принципе, не очень увлечена, но ей неловко без видимой причины все бросить. И я в тот же день уехал. Просто повернулся и сел в троллейбус. Пошлялся по Симферополю. Страшная гадость. Посмотрел итальянский фильм "Полицейские и воры", как воруют колбасу. Я тогда очень старался писать, и у меня ничего не выходило. Вроде того, что лежишь в семнадцать лет с кем-нибудь в постели, и то, чего ты ждешь, все равно ничем не ускорить. А если так ждать прозу, то даже из кресла лишний раз подняться страшно. Чтобы ее не спугнуть. Тогда Катерина сказала: "Кажется, ты все-таки пишешь. Но постарайся как можно дольше ничего не писать. Когда-нибудь потом, когда пройдет несколько лет и мы с тобой все начнем сначала". И еще несколько раз мы пытались все начать сначала. Я даже сейчас иногда думаю, что все еще впереди - хоть она совсем никуда не собирается уезжать из России и завела ребенка от какого-то постороннего человека. Я вообще не понимаю сегодня, есть ли у нее плоть. Помню, как она пахнет. Как пахнут кончики волос. Но она потемнела и стала носить короткую стрижку. И запах мог исчезнуть. Ей уже тридцать пять лет. Это не такой преклонный возраст, но я думаю, что у меня разорвется сердце, если я увижу у нее коронки или седые волосы. В дверь давно стучали.

Черт подери, просыпаешься из такого глубока, и кто-то барабанит по голове.

Я боролся с собой, чтобы не открывать. Надо дисциплинировать себя. Ни с кем не разговаривать и записывать все подряд, как Ксенофонт. Что рано утром встал и купил у Мордехая булку с жесткой корочкой за двадцать пять агурот. В комнате было уже совсем светло. Значит, уже был полдень. Я встал и подмел комнату. Я совсем ничего не могу записать в грязной комнате. В голову лезли сонные мысли, что какая-то девушка сидит печальная на другом конце зала и говорит по телефону. А я вдруг думаю, что это "она", и провожу по плечу ладонью. И она меня узнает по прикосновению кожи. Но я не успел довоспоминать, потому что снова пришел хозяин. Я различаю его стук. Но я снова не стал открывать. Посмотрел в окно, как он спускается по лестнице в магазин, взял стерео и пошел за ним следом.

- Почему на дверь не вывешиваешь свой индекс? - спросил Магзумов. Я махнул рукой.

- До конца года должен выехать. Когда собираешься платить?

Я пододвинул к нему стерео.

"Сколько ты за него хочешь?" - спросил он. "Месяц хочу прожить, но чтобы ты меня не трогал. Чтобы я тебя даже не видел. Потом я или заплачу за полгода вперед, или уеду". "А если "не уеду?" - спросил Магзумов. "Если не уеду, то снова будем разговаривать". Он недовольно пожал плечами, но приемник все-таки спрятал. Сказал, что подумает и даст мне знать. Лучше, чем хозяину, этот приемник зимой было не продать. Зимой ни у кого нет денег.

День был неплохой. Немного потеплело. Было облачно, но несколько раз солнце показывалось, и снег почти стоял. Все же я его потрогал. Как-то мне психологически важно подержать в руках снег. Дождемся еще, будет много снега, хватит на всех. Я вернулся домой и снова лег. Но скоро пришел этот человек из Баку. Я не сразу ему открыл, но еще с лестницы почувствовал сильный запах лосьона "Афтершейв". Я прошел на кухню и почистил зубы холодной водой. Этот тип стоял на лестнице и невозможно было греть воду. Я надел байковую рубашку и брюки, а пижаму спрятал в шкаф. И после этого спросил: "Кто это?" Он сказал: "Свои", и я открыл дверь. Нищий со вчерашнего дня побрился и выглядел, как хозяйский масляный кот с одним зубом.

"У тебя неплохо, - сказал он и осмотрелся. - Не продаешь?" - спросил он про картину в углу. У меня есть одна хорошая картина, но продавать ее нельзя, и разрешения на вывоз тоже никогда не получить. Перед отъездом придется подарить ее Арьеву.

"Я для вас обо всем договорился, - произнес я вслух, - есть комната. Остается только принести туда матрац, и можно будет жить, пока не будет тепло". "А когда будет тепло? - сказал нищий. - Это философский вопрос". "Хотите чаю?" "Не откажусь", - он наклонил голову набок. Я согрел ему чай. "Хороший чай, - сказал нищий, - где покупал?" Он начал меня уже очень сильно раздражать. Как раз сейчас, когда стабильная полоса жизни подходила к концу и я обязан был что-нибудь успеть сделать, мне не хотелось больше тратить на людей ни одной секунды. И голодать. То есть - не есть. То есть есть, только если где-нибудь случайно перепадет. Мне не хотелось этой рабской зависимости от еды. Мимо забегаловок спокойно не пройти. Дома кроме чая было шаром покати. Мыши среди бела дня грызли в шкафу туфли. Оставался батон в целлофане, который не пах, и несколько ложек коричневого сахара. Но мне было совершенно все равно. Я понял универсальную формулу, почему наступает момент, когда писатели перестают писать. Я знаю ее и сейчас.

Мне нужно было еще раз спуститься вниз посмотреть почту, но я не хотел оставлять Габриэлова одного, потому что знал, что он станет копаться в бумагах. Я сделал на кухне стоя еще два глотка чая с жасмином и повел его к Аркадию Ионовичу. "Пойдемте, здесь недалеко". Я его совсем не боялся, но чувствовал себя перед ним совсем беспомощным. Хорошо, что удалось скинуть его Аркадию Ионовичу. Но тот очень злопамятен, теперь и от него житья не будет. Я сердился даже не на грузина, а на пастора: нагрузит тебя

таким монстром, и теперь тот до весны будет хитро на тебя посматривать и понимать, что никто не возьмет на себя грех выгнать его зимой на улицу. И зима, как на беду, холодная, с мокрым снегом, и нищим подавали очень плохо. Я старался совсем с ним не разговаривать. Шел впереди по узким курдским улочкам. Вот здесь я тоже раньше жил. Все квартиры были самодельными и убогими. Все на слом. Жизнь на слом.

Около дома Аркадия Ионовича я остановился и прислушался: мне не хотелось, чтобы его хозяин раньше времени заметил Габриэлова. Хозяин-марокканец торговал в нашем районе наркотиками и боялся осведомителей. Он прятал наркотики в кустах за синей помойкой. Но в доме было тихо. Я постучался и сразу ушел. Пусть сами разбираются. Я им тоже не нянька.

Глава пятая. АКАДЕМИК АВЕРИНЦЕВ.

За дверью стояли два человека, Я тихонько сказал: "Я болен. Ани холе". По голосу я узнал Аркадия Ионовича. Я понимал, что сейчас его морда вытягивается до лошадиных размеров. Через секунду он проорал из-за двери: "По-хорошему открывай. Холе! Я тебе дам, сука, "холе". Привел ко мне с котом".

- Я правда не могу открыть, - сказал я через дверь и посмотрел в замочную скважину. Аркадия Ионовича было не узнать. Я не успел рассмотреть его третьего дня. Наверное, он всю неделю пил, потому что его лицо опухло и стало несимметричным. За ним следом лез Габриэлов с котом в лиловом портфеле. Взгляд у Габриэлова был совершенно безумным. "В чем дело, Миша, перестаньте дурить! Я же предупреждал вас, что не смогу взять с котом!" - "Я - кавказский человек!" - огрызнулся Габриэлов враждебно. "Да молчи ты, кавказский человек. Миша, может вы сами возьмете кошечку? Хороший очень кот. Он говорит, что кот знает четыре языка. Как академик Аверинцев. Даже азербайджанский знает. На кой черт ему тут азербайджанский?!"

Я снова посмотрел в скважину: из-под молнии выглядывала вялая черненькая кошечка, наверное, с полгодика. На шее у нее болталась не ленточка, а такая болотная веревочка, которыми затягивают бандероли.

-И вы знаете, что самое неприятное? Он всерьез собирается этого кота убить, зашибить его дверью. -Придется убить, - печально сказал с лестницы Габриэлов, - ей не выдержать зимы. Ее сожрут. Домашняя кошечка. Четыре языка знает.

- Но он согласен под залог. Если вы заплатите двадцать пять новых шекелей, то он согласится кота отпустить. Тогда он уже не будет так переживать, что кота сожрали. Он очень тонко устроен. Он - кавказский человек.

- У меня столько нет, - сказал я с досадой. - Я могу вам дать равно половину залога. И ни копейкой больше. Сходите к Арьеву на плац-Давидку, он додаст.

Я просунул в щель двенадцать новых шекелей, а мелочь подбил под дверь ногой. "Одной по сто не хватает", - сказал Аркадий Ионович.

- Пошарьте чем-нибудь под дверью.

Я понимал, что Габриэлов этих денег даже не нюхнет. Но мне хотелось откупиться от Аркадия Ионовича, чтобы он не корил меня весь год удушенным котом. В щель было видно, как мои гости внимательно пересчитывают деньги, потом, к моему удивлению, Габриэлов уложил их в карман демисезонного пальто.

- Вам не удастся купить билет за одну сраную кошку, - засмеялся Аркадий Ионович.

- Нечего столько болтать, - злобно ответил Габриэлов, - туда можно ехать морем.

Я заметил, что за одни сутки Габриэлов приобрел над Аркадием Ионовичем непонятную власть.

- Вы же профессиональный нищий, - равнодушно буркнул Аркадий Ионович, - на черный день. . .

Дальше я не расслышал. И они ушли к Арьеву. Аркадий Ионович обязательно хотел пройти через бухарский скверик, где выпивал Боря Усвятцов с компанией ешивских знакомых, и им, конечно, должна была очень понравиться эта процессия с котом. Тем более, что Габриэлов шел в дымчатых очках, которые он где-то утащил, и с портфелем! Но Габриэлов упорно сторонился русских.

По дороге они зашли в несколько парикмахерских, пытаясь продать кота. Все-таки двадцать пять шекелей было очень дорого. Пока соглашались взять только две девушки-аргентинки, но у них не было денег, а бесплатно Габриэлов отдавать кота не хотел. Арьеву они позвонили снизу и сказали, что они от Михаила Васильевича.

Женя Арьев - поэт, но по утрам он служит. Он не праздный поэт. От службы у Жени болит печень. Про это он и пишет. Он пишет стоя. Застынет у витрины и может простоять целый час. Но он ничего не видит и не слышит: он представляет себя на улице Лермонтовской. - Вам чего? - тоскливо спросил он в трубку.

- Мы вам привезли кота, - сказал Аркадий Ионович.

- Какого кота? - нервно спросил Женя.

- Хорошего, породистого кота, - сказал Аркадий Ионович, чтобы его успокоить, - просто замечательная кошечка. Мы вас ждем на втором этаже около "информации".

- А нельзя ли нам с вами все обсудить по телефону? - пролепетал Женя.

- Нет, - жестко отрезал Аркадий Ионович, - если вы не можете спуститься, то мы к вам поднимемся сами.

- Да я спускаюсь, спускаюсь уже, - обречено выдавил из себя Арьев.

Пока Женя не спустился вниз, они бродили по видовой площадке вокруг большого фикуса. Габриэлов хотел выпустить кота прогуляться на веревочке, но Аркадий Ионович сказал, что в портфеле кот выглядит солиднее.

Ждать им пришлось минут десять. Увидев их, Арьев сразу все понял и

запаниковал. Больше всего он боялся, что они могут явиться к нему в офис. С ним в комнате сидело несколько толстых румынок из "Национальной службы", которые давно были уверены, что у Арьева именно такие друзья. Или Аркадий Ионович с Габриэловым по пути сволокли бы чего-нибудь со столов, и румынки всегда теперь будут думать на него.

Габриэлов сразу же стал доставать из портфеля кота. - Ну, будете брать? - любезно предложил Аркадий Ионович. - Решайте. Двадцать пять новых шекелей. Ровно. "Бидиук". Иначе этот товарищ, которому принадлежит кот, грозит задавить кота дверью. Ну что вы побледнели?

- Так убивают котов, - как эхо отозвался Габриэлов. - Да что это с вами? - повторил с удивлением Аркадий Ионович, вглядываясь в Арьева.

С Женей действительно творилось что-то невероятное. Какая все-таки тонкая организация эти поэты! Я отныне просто зарекся засылать к ним своих товарищей. Потому что - тьфу - любые ничтожные происшествия вдруг неузнаваемо коверкают их жизнь. Неожиданно на службу к поэту являются два полутрезвых хмыря с котом на веревочке. И вот вся жизнь, которую поэт тщательно планирует с утра, отвратительно катится неизвестно куда. Он вдруг забывает про пенсионный фонд, заработанный каторжным трудом, он забывает про свой еврейский индекс, забывает про любовницу-англичанку, которая привыкла шляться по филармониям, а это тоже влетает в копеечку, он забывает про все на свете! И дело не в деньгах. Ариев выгнулся, заметался и раздул ноздри. Поэт-концептуалист, Ариев не мог являться к себе в контору с котом! Но и дать этим хамам задавить дверью кошку - нет, это тоже было выше его сил. Казалось, что выхода нет!

"Подождите меня здесь, - рассеянно сказал он своим гостям, - я сейчас!" Какое там "сейчас!". Ни то, ни другое, ни третье! Наверх, к себе в контору, Ариев решил никогда больше не подниматься. Он просто вышел на улицу, поежился от холодного ветра и побрел куда-то по улице, обдумывая про себя определенный план. Дело в том, что совсем накануне Ариеву предложили заведовать отделом в некотором таинственном издании, и хоть он невероятно кипятился и кричал, что его перо непродажно, но потом что-то его отвлекло, он затих, и к этой непродажности уже не возвращался.

Глава шестая. О ТВОРЧЕСТВЕ.

Мое перо продажно. Для того, чтобы обладать этим качеством, оно должно быть: а) достаточно профессиональным и б) при этом быть недостаточно благородным. Оба эти пункта мне по плечу. Если уж честно выбирать, где зарабатывать себе на жизнь, то я бы выбрал порнографический журнал. У меня есть много собственных разработок создания общепорнографического фона.

"Иду ночью по Москве - встречаю Евтуха. Говорит, еле ноги волочу - за ночь пяток целок трахнул".

"Каких только людей пизда не нашла" (наблюдение) кавычки закрыть

запятая ..а.п. мюллер болд кавычки открываются болт быт иностранных художников в россии медиум 1927 года цена 15 шекелей болд русский казанова цена четыре и пять десятых шекеля кавычки закрыть". Это фон.

Сегодня на русском языке такого журнала нет. Последний порнографический журнал издавался в Реховоте, и его набирала одна пожилая наборщица, которая раньше была корректором в издательстве "Просвещение". И поэтому очень этой работы стеснялась и умерла от удара, когда ее за этим занятием застал кто-то из знакомых. Это красивая и мужественная смерть, и хоть она и произошла в Реховоте, но по сути своей она, конечно, достойна Иерусалимских хроник. Спи, товарищ! Сам я тоже долгое время вел уголок спортсмена в одном известном религиозном журнале, пока не был изгнан с позором, борясь за свободное слово. Последний спортивный репортаж редакция вернула мне по почте. Мне удалось сохранить его для хроник:

"Во дворе "Апраксиного двора", где располагался магазин автомобилей, и ювелирка, и еще куча всяких складов, стояло два ларька, известных любому приличному спортсмену. Это прямо напротив здания финансово-экономического института, где разбит садик с бюстом Кваренги. Так вот прямо за спиной Кваренги, на Садовой, есть маленькая площадка между галереями, а в том месте стоял еще третий ларек, где пиво всегда продавалось с подогревом, и место это, по счастью, известно не всем. И чтобы объяснить значение этого подогрева, мне нужно начать издалека. Новгород в это время собирался стать крупным футбольным центром, и для этого решили создать команду из бывших звезд, и туда ушел, в частности, мастер спорта международного класса СССР Василий Данилов. Звание свое он получил за чемпионат мира в Англии, где он прилично отыграл все игры, кроме самой второстепенной игры с Кореей. Но судьба повернулась так, что спустя всего год Вася Данилов, облаканный публикой, еще на вершине своей футбольной славы, с треском вылетел из "Зенита" за беспробудное пьянство. Надо сказать, что в шестьдесят седьмом году за команду "Зенит" играло какое-то невероятное количество футболистов - тридцать восемь человек, и все эти тридцать восемь человек, целых три с половиной состава, - все очень сильно пили, кроме рыжего Бурчалкина, который в шестьдесят седьмом году не пил, потому что мучился от язвы луковицы двенадцатиперстной кишки. И, конечно, когда в Новгороде создали команду "Электрон", то туда сразу немедленно сослали самых пьющих зенитовцев: взяли Маркова, Кроткова, взяли Гусева, но другого, который раньше играл за "Карпаты", и, наконец, взяли Данилова вместе с приличным нападающим Колей Рязановым, ленинградцы его все должны знать. И в этой задрипанной команде "Электрон" в один момент оказалась масса игроков невиданного для Новгорода высокого класса. Но как иллюстрация выражения, что не место красит человека, новгородский "Электрон" занял таким обновленным составом во второй северо-западной зоне двенадцатое место всего при восемнадцати командах! То есть зенитовцы за очень короткий срок так разложили новгородскую команду, что скоро на поле нельзя было уже

понять, какие из них зенитовцы, а какие не зенитовцы. Надо еще сказать, что в Новгороде и в доперестроечный период пить по утрам было совершенно нечего. И вот, к огромному удивлению ленинградских болельщиков, где-то за месяц до расформирования новгородской команды, около третьего ларька (где пиво, если вы запомнили, продавалось всегда только с подогревом) остановилось такси с потертым новгородским номером, и из него вышли собственной персоной мастер спорта международного класса Василий Данилов и просто мастер спорта Рязанов. Новгородцы, к чести своей, взяли только подогретое пиво, потому что водка у них была своя, сообщили, что сегодняшняя тренировка у них только в четыре, а до этого еще куча времени погулять и пообщаться с приличной публикой.

Вы, как люди интеллигентные, видимо, считаете, что у пивных ларьков стоят работяги и всякая шваль, а это совершенно не так. Допустим, какой-нибудь тоже интеллигентный человек просыпается в девять часов утра, потому что он нигде временно не работает. Абстиненция просто ужасная! И просыпается он, заметьте, не в Париже, куда он от трудностей не сбежал и сбегать не собирается! А на Фонтанке кафе не работают, рестораны еще закрыты, и остается только взять в магазине бутылку и идти к пивному ларьку. Тем более, что меньше маленькой в магазине не продают, а маленькой для похмелки на одного человека многовато. А у ларька вы всегда найдете понимающего вас человека, которому можно предложить половину маленькой, а он за это возьмет вам две кружки пива и два пирожка с мясом, и это будет всего чуть меньше половины, или за половину маленькой можно взять "Беломор", а один из пирожков не брать, но если брать две кружки пива и "Беломор" без пирожков, то тогда остро встает проблема закуски..." Скрипи, скрипи, продажное перо!

Глава седьмая. МАМА ШАЙКИНА.

Напрасно прождав Арьева у окошечка "информация", Аркадий Ионович и Габриэлов помянули недобрым словом человеческую необязательность и уселись под часами около "Национального банка", чтобы посоветоваться. Интеллигентного кота решено было выпустить на волю. Кроме того, Аркадию Ионовичу до смерти хотелось опохмелиться. И он предложил Габриэлову выдать ему из кошачьего залога несколько шекелей на "Таамон", обещая за это навсегда отправить Габриэлова за границу, заручившись для этого поддержкой ковенской ешивы Шалом. На это Габриэлов резонно отвечал, что ковенцы уже один раз, слава Всевышнему, вывозили его в Западный Берлин, откуда его вернули обратно с полицией. Но попытать счастье еще раз было можно, тем более, что религиозный статус Габриэлова на сегодняшний день все еще оставался спорным. По дороге в "Таамон" Аркадий Ионович и шедший в дымчатых очках Габриэлов неожиданно встретили доктора Мостового, недавно принятого в ковенскую ешиву

рядовым студентом. Этому московскому доктору нужно было подписать банковскую ссуду на электротовары себе и теще, и он бродил по всему городу с документами и искал двух необходимых гарантов. Мостовой, волнуясь, попросил Аркадия Ионовича подписать ему документы или привести какого-нибудь надежного кадра. Кроме того, он сказал, что деньги за электротовары они с тещей обязательно вернут, и с него, с доктора Мостового, за это причитается. И поклялся в этом своей новенькой серебряной ермолкой. Услышав про "причитается", Аркадий Ионович сказал, что надежный гарант сейчас прибудет. Дело в том, что у самого Аркадия Ионовича существовала только половина паспорта с фотографией, но без адреса, и в гаранты он не годился. А у Габриэлова, наоборот, документов было много, и частью из них в самое ближайшее время он собирался воспользоваться, но все они были не на его имя и для Израиля совершенно не подходили.

- Как же вы ходите без документов на военные сборы? - спросил изумленный доктор. Еще в Союзе доктор читал в специальной сохнутувской брошюре, что служба резервиста - это почетный долг каждого израильтянина. Но Аркадий Ионович спокойно объяснил восторженному доктору, что для ковенца такая позиция является ложной, и, может быть, ему правильнее перебраться в военизированную ешиву маккавеев. Но за "гаранта" все равно причитается десять шекелей.

Они стояли на углу улиц царя Агриппы и короля Георга Пятого, где торгует с тележки курд-кукурузник, с которым у Аркадия Ионовича шла непрерывная война, и он специально водил сюда полупьяные компании, чтобы кукурузника подразнить. И вот, оставив своих спутников между кукурузной тележкой и порнографическим кинотеатром "Райский сад" (доктор Мостовой по-честному на фотографии из фильмов старался не смотреть, хоть практически все органы, относящиеся к райскому саду, на фотографиях были заклеены звездочками), Аркадий Ионович побежал в бухарский скверик за Борей Усвятцовым.

Надо сказать, что предложение Бориса Федоровича в электротоварные гаранты было не просто пьяным хулиганством, но еще и провокацией. В последние месяцы Боря почти не трезвел, голова его была обмотана кухонным полотенцем, и ни в какой банк его было уже не завести. Но в Аркадии Ионовиче сидел какой-то злой дух, которому нравилось всех стравливать, и через минут десять он сдал ослабевшего Бориса Федоровича довольному доктору, получил за него десять серебряных шекелей, а сам, вместе с нищим Габриэловым, отправился в Меа-Шеарим, прямиком в ковенскую ешиву. Как часто я мечтал оказаться на их месте! Что может быть прекрасней, чем сесть после трудового дня за толстую книжку! Знание - это бездонный океан, и вот ты подсаживаешься к нему с краю, достаешь из-за голенища свою крохотную десертную ложечку и тоже со вкусом начинаешь хлебать. Как часто мечтал я выучить какой-нибудь мертвый язык, который кроме меня не будет знать совершенно никто на свете! Так что приезжает в Иерусалим какая-нибудь делегация писателей из всех стран мира, и все

спрашивают, кто знает такой язык? А я скромно молчу и чуть слышно говорю - "я". Или возвращаться домой к длинному столу, за которым ждут меня притихшие домочадцы, и рука жены зависла над фарфоровой супницей, и золотистые волосы моей красавицы стыдливо убраны под косынку, и детки счастливо болтают под столом ножками в белоснежных гольфиках! Не отворачивайся от меня, ковенская ешива "Шалом", отопри для меня свои стальные двери! Но - молчание: ни дыхания, ни звука в ответ! Ковенская ешива не принимает чужих! Она умеет различать коварные и пустые сердца!

В само здание ешивы Аркадий Ионович вошел один, Габриэлов по старой памяти подниматься туда не стал. Он снова напялил на себя темные очки и остался дожидаться своего приятеля в подворотне соседнего дома. И Аркадий Ионович, разумеется, о нем совершенно забыл, а когда к вечеру спохватился и спустился вниз, то в назначенной подворотне грузина Габриэлова не оказалось. Аркадий Ионович почувствовал себя виноватым и немного расстроился, но не сильно. Собственно, он задержался в ешиве не по своей вине и даже не выпил там ни одного глоточка вина, хотя в ешиве был полупраздничный день и все были немного навеселе, потому что исполняющий второй категории Шайкин в этот день выдавал замуж маму. А Аркадий Ионович давно не показывался в ешиве и о замужестве этой мамы просто начисто забыл. Вообще-то у него была феноменальная память. Он до сих пор числился ковенским студентом и Талмуд знал, как "Отче наш", так что вся ешива натурально давалась диву. И когда наведывались проверяющие от главного ковенского гаона, то за Аркадием Ионовичем домой неизменно являлись целые делегации. А все руководство ешивы - и Шкловец, и Шендерович, и даже сам рав Фишер - считали, что если Аркадия Ионовича вылечить от пьянства (если бы знать как!) и он перестанет якшаться со всякой сволочью, то он имеет шанс вырасти в какого-то невероятного гаона!

И, конечно, в такой день Аркадий Ионович перебросился парой фраз со всеми шаломовцами, поздравил от себя лично маму Шайкина, которая выходила замуж за богатого ковенца с Западной Украины, владельца небольшой фабрики варенья. И пока все это происходило, пока шло веселье с вином, до которого Аркадий Ионович был небольшой охотник, потому что от вина у него сразу сильно начинал болеть желудок, все начальство, перед которым нужно было ходатайствовать за нищего Габриэлова, разбрелось.

Аркадий Ионович отложил свою просьбу на следующий день, а сам, найдя подворотню пустой, с довольной улыбкой, не торопясь вернулся домой.

Дома у Аркадия Ионовича Габриэлова из Баку тоже не оказалось. Вечером того же дня тело Габриэлова было обнаружено на строительной площадке мормонского университета и было отправлено в холодильник морга. Обстоятельства смерти Габриэлова остались невыясненными.

Глава восьмая. КАПЕРСЫ.

Город, в котором я живу, - небольшой. Его можно представить себе как гигантскую букву "А" или громадный циркуль с перекладиной, насаженные на кол. Это пять-шесть улиц, на которых происходит действие. Кол - это улица царя Агриппы, внука Ирода Великого; перекладиной служит улица английского короля Георга Пятого; и еще две ножки циркуля - Яффская дорога, ведущая в Яффо, и пешеходная улица Бен-Иегуда, переходящая в улицу Бецальэль ("в тени Бога"). На ней, в этой тени, стоит Национальная Академия художеств, национальный рыбный ресторанчик и трехэтажный Дом Нации, в котором однажды до глубокой ночи пела Людмила Гурченко. Во всех остальных местах люди только спят. Яффская дорога идет от автобусного вокзала, но это приличный вокзал, на котором нет постоянных шлюх, и на ночь его запирают от них на ключ, потом стоит заброшенный англичанами госпиталь с гигантскими платанами, базар, на котором живет автор (на манер "Последнего дня Помпеи", где художник Брюллов тоже изобразил себя в помпейской толпе с ящиком красок, которые он куда-то растерянно прет на голове). Дальше идет Плац-Давидка, там до печальной истории с котом работал чиновником мой друг Женя Арьев, а Миллер содержит свой магазин русской книги национального содержания. Посреди улицы Бен-Иегуда - того самого типа, который не давал своему парнишке даже раскрыть рта, пока он первым в мире снова не заговорит на иврите, - теперь посреди улицы этого Бен-Иегуды, благодарно раскрыв рот, сидит за столиком с высоким бокалом национального пива "Маккаби" русско-ивритский поэт Мишка Менделевич, а в ста метрах от него стоит пятиэтажный "Машбир", где Борис Федорович Усвятцов ворует кошерную индюшачью колбасу, которую делают из перьев и ног, и от нее пучит и сильная отрыжка. Еще повыше - "Городская башня", с которой видно и последний день Помпеи, и Менделевича, и этот рыбный ресторанчик "У Бени", где готовят в основном из рыбы Святого Петра, она же "Амнон Ха-Галиль", невероятно костлявой рыбы, похожей на отощавшего подлещика. Но если вы никогда в жизни не пробовали нормальной рыбы, то вам, может быть, и понравится. Амнон - это сын царя Давида, который изнасиловал свою сестрицу Тamar, когда она из сострадания принесла ему в постель две лепешки. И почему-то по этому поводу так называли эту костлявую рыбу. Амнона через пару лет убил другой брат Тamar - Авессалом, мстительный и малопрятный тип, но царь Давид на свою голову его простил. И тогда Авессалом составил против царя заговор, а его первый советник Ахитофел уговорил его еще переспать с любовницами отца на глазах всего Израиля, чтобы, как говорится, "обратного пути не было". Советник был из города Гило, там же он и удушился. Это довольно склочный город. Там давно уже каждый третий русский.

А вот на улице Кинг Джордж Фифс стоит знаменитое Национальное Бюро, которое привозит сюда евреев по принципу "ниппеля", ресторан "Таамон", о котором я ничего плохого сказать не могу, и Шмулик Пушкин из Москвы

держит лавочку, где торгует всякой всячиной - американскими сигаретами, солдатскими сардинками и чем-то еще. Шмулик тоже живет в Гило с папой и с мамой. Напившись, он начинает жаловаться, что еще в Москве у него была знакомая девушка из медицинского института, на которой он так и не женился, потому что у нее кривые ноги.

Но самая главная улица, разумеется, царя Агриппы, внука Ирода Великого. Она тянется от порнографического кинотеатра "Райский сад" до солдатского ресторана "Мамочка!". И это основной дневной маршрут Бориса Федоровича, Шиллера и Шнайдера. Их всегда можно там застать, если они на свободе и к ним есть какое-нибудь поручение. Борис Федорович здоровается по утрам с курдом-кукурузником и покупает у него парочку горячих початков. Дальше они где-нибудь за час добираются до мастерской Каца. Каца, который писал маслом портреты трех американских президентов и вообще считается крупным американским живописцем. За пять минут по часам он может написать вам очень большую картину. Там же на углу стоит слесарная мастерская, где подрабатывает сварщиком темный каббалист Яхи, которому за большие деньги предлагают перейти в мусульманство, и с ним тоже всегда можно выпить. И выше по улице царя Агриппаса, внука Ирода Великого, есть еще целых три места, в которые Бориса Федоровича пускают, если он показывает наличные деньги: во-первых, это "Кумзиц", где по пятницам собирается приличная сионистская компания, и Мишку Менделевича туда приглашают бесплатно поесть и почитать свежие стихи, во-вторых, "Нисим-парашютист", у которого железный сортир, как в самолете, и есть еще лысый Мики, который тоже пьет и многим записывает в долг, но русских он справедливо недолюбливает. Меню у всех приблизительно одинаковое - хумус, меурав и кебабы (восточная кухня - "мизрахи"!)). И Менделевич всегда негодует, что на этих поэтических пятницах просто нечего жрать. Действительно, в Ленинграде, например, на Витебском вокзале все эти пупки и шмупки и легкие при всем желании даже в царское время нельзя было сыскать. Там тебе всегда приносили буженину, холодную водку и пиво. А к буженине обязательно был зеленый горошек, и все это еще с майонезом. Потом на горячее уже несли эскалоп. Два куса эскалопа с жареной картошкой и сухариками, и с похмелья вам больше не съесть. И кроме того, вокруг всегда очень солидная публика, майоры, подполковники, военная интеллигенция, потому что вокруг девять военных академий. Там и военно-медицинская, и артиллерийская, и инженерная, и высшая школа МВД. Даже обстановка в ресторане сохранилась от царскосельского вокзала - пальмы стоят в бочках, роскошные зеркала, официантки - сплошь блондинки, и тяжелые бархатные занавески. И на десятку вдвоем всегда можно было пообедать. В меню даже каждый день был суп, но его мало кто заказывал. Это, может быть, в средневековые водку закусывали щами, и то только крестьяне, а сейчас традиция изменилась. И в Ленинград на Загородный проспект за этим супом вы тоже не потащитесь, а спокойно выпьете себе напротив "Нисима-парашютиста" в бухарском скверике, но, конечно, начиная с весны. Зимой там пить сыровато.

И есть еще в Иерусалиме мелкие улочки типа царицы Шломцион, где находится Национальное страхование и Борису Федоровичу обещают дать солидную пенсию, как бывшему узнику Сиона, за которого он себя выдает, и улицы двух знаменитых еврейских учителей Гилеля и Шамая, где бывшие румыны содержат некошерный магазин деликатесов и магазин сексуальных принадлежностей, если кому нужно. Если вас там не знают в лицо, то вы вполне можете отовариться на пустой чек и подписать его именем любого из двух глав легендарного синедриона - Гилелем или Шамаем - на выбор. И это будет отличным примером спорности гилелевского принципа "прозбул", выводящегося из греческого "прос ваиле", по которому долги, обеспеченные судебным постановлением до юбилейного года, отпущению не подлежат, ибо они как бы уже взысканы и находятся "у брата твоего" только номинально. Есть еще один неплохой некошерный магазин на шоссе Иерусалим - Рамалла, на повороте в Неве-Яков. Хозяин там - подозрительный араб, и у него тоже в основном покупают русские, поэтому чеки он наотрез не принимает, но ассортимент у него неплохой. Есть свиной паштет "Синьора", венгерская колбаса твердого копчения "Герцель", есть сыр "Пармезан", любимый сыр пирата Бена Гана, икра есть всякая, но в основном искусственная, пропитанная немецкой пищевой краской. Еще есть каперсы национальной фасовки, довольно недорогие. Каперсы - это маринованные нераспустившиеся бутоны с каких-то кустов, которые принято засовывать в анчоусы. Анчоусы Борис Федорович Усвятцов любит прямо до дрожи! Когда он их ест, он весь изгибается дугой и выставляет вбок короткий мизинец. Но он не верит, что каперсы тоже можно есть. Он говорит: "Какие каперсы? А я выковыриваю их, думаю, что это просто грязь!" Каперсами Бориса Федоровича угощал зубной врач-психопат из Тель-Авива, который сразу схватил Борю за половой член. Борис Федорович изумился, но это ему польстило. "Ты кого ко мне привез? - сказал он. - Ведь я же пожилой человек!"

Глава девятая. ТААМОН.

Я сидел уже второй час в дешевом ресторанчике на улице Короля Георга Пятого и размышлял о жизни и смерти. Прежде всего я думаю, что смерть Габриэлова я мог предвидеть. И спрашиваю себя: взял бы я Габриэлова к себе, если бы я знал, что ему суждено так трагически погибнуть. И отвечаю себе, что "нет". Поразительная черствость, которой я не нахожу объяснений.

Если разобраться, то в Иерусалиме вообще очень мало людей, которых я взял бы к себе, если бы я даже знал, что их к завтрашнему утру замуруют в стену мормонского университета. Бориса Федоровича я бы взял, потому что я считаю себя его биографом, и кроме того он является моим народом, от которого я отторгнут. Но, конечно, это будет беспробудная пьянка, и я никогда больше не напишу ни единой строки.

Арьева с его печенью я бы тоже, пожалуй, неохотно, но взял, а вот Юру

Милославского - точно нет, хоть он уже три года сидел в православном монастыре и из-за монастырских стен безнадежно боролся с "Указом 512". И еще издателя Евгения Бараса (запомните эту фамилию), сволочь Аллу Русинек и профессора Димку Сигала, которого печатают в "Русской мысли", я бы не взял ни за что! Характерно, что все они как один из Москвы, и этот список москвичей можно еще продолжить!

Днем Арьев оставил мне записку, но в зале "Таамона" его не было. И вот я сидел и пытался вызвать в себе угрызения совести. Тогда, после кладбища, где мы были втроем: пьяный Усвяцов, я, Аркадий Ионович да еще шайка кладбищенских хасидов - мы выпили с Аркадием Ионовичем и невесело помянули покойничка.

- Ебена мать! - задумчиво проговорил Аркадий Ионович. - Говорил же я ему, бери с собой Шиллера, он тоже рвется за границу, и отваливайте через морские ворота или через Египет. Так нет! Боря, кстати: где Шиллер?

- Может, сел? - заплакал в ответ Борис Федорович. - Какой, к черту, сел! Он только освободился.

Теперь Аркадий Ионович тоже исчез: мы подходили к его дверям каждый день, и Боря караулил его на автобусных станциях, но безрезультатно. В городе происходили чудеса.

Я не заметил, как меня развезло. Я сел спиной к выходу, чтобы меня не видели с улицы, положил руки на голову и постарался на несколько минут заснуть. Из знакомых в зале был Розенфельд, но он мне едва кивнул. Кто-то обещал Розенфельду новую ссуду на ресторан, и он снова стал немного важничать.

У Розенфельда была масса идей. Он был уверен, что русской интеллигенции в Святом городе обязательно нужен свой ресторан. Когда-то единственным оплотом русской культуры был книжный магазин Миллера. И вот там-то Розенфельд для начала открыл свое питейное заведение с русской кухней. Миллер с утра крутил русские пластинки, и сам Розенфельд, который к концу рабочего дня был уже сильно пьян, довольно хорошо пел блатные песни. Но продолжалось все это недолго: в результате этой затеи сам хозяин Миллер тоже совершенно не протрезвлялся. Вдобавок религиозный поэт Бориска (Барух) Камянов, окна которого выходили прямо на кухню Розенфельда, регулярно доносил в Национальное бюро, что в конце пятницы, когда во всем святом городе уже торжественно наступает шабат, в магазине Миллера продолжается безудержная пьянка. И бизнес закрыли. Миллер переехал на новое место, уже без еды, а Розенфельд открыл ресторан "Алые паруса". Но потом Розенфельда каким-то отвратительным образом подвели Галя и Фира, две очень толстые бабы из "Национального бюро", которые зря пообещали ему большие ссуды, тут же его предал кто-то из соратников, одним словом, эти "Алые паруса" простояли не больше трех месяцев.

Открывая свой ресторан, Розенфельд говорил, что он преследует сразу три цели: сплочение рядов русских интеллектуалов, возрождение сионистской идеи, сильно уже дискредитированной Галей и Фирой, и, наконец, лично он считает, что открытие русского ресторана должно приблизить приход

Мессии. Полных израильтян, индекс двести, Розенфельд пускал не дальше первого зала. А во втором зале у него стояли два главных столика: первый по важности для него самого и его ближайшей свиты, которая его впоследствии и предала, а второй - для просто хороших знакомых, к которым он подходил в конце дня с гитарой и неизменно исполнял "Перепетую". Интеллектуалы действительно заходили и пили, но преимущественно в долг, приход Мессии затягивался, и "Алые паруса" приказали долго жить.

Как Розенфельд и опасался, большинство русских после этого стали пить по домам. Но существенная часть перекочевала в "щель", и он их тут караулил и некоторых даже поил на свои деньги, чтобы не растерять клиентуру. Это была страшная дыра.

Постоянный состав "Таамона" можно было разделить на три категории: на алкоголиков, на гомосексуалистов и на проституток. Причем проституция была представлена слабее всего. По-настоящему художественных натур тоже было мало. Правда, на стенах висели разные местные шедевры, и Миша Гробман подарил им бесплатно одну из своих довольно страшных рыб.

Пару раз приезжие барды устраивали тут свои концерты, и тогда по пригласительным билетам сюда набегало человек по двадцать университетских дам, они заказывали себе кофе с пирожными, за которыми приходилось посылать в соседнее кафе. Но в целом "Таамон" был демократичным и пристойным местом. Там даже бегал негр-официант, который умел говорить на идиш.

Я затянулся ментоловой сигаретой и совсем не ощутил вкуса ментола.

Я понял, что допился уже до такой степени, что организм перестал воспринимать ментол! И даже вспотел от напряжения. Я поднял голову от коньячной лужи на столе и все вспомнил.

Прямо передо мной за столиком сидел милый норвежец Бьорн со своей конопатой полькой. У него кончался срок визы, и он не хотел брать ее с собой в Норвегию, потому что она была кошатницей, а он не мог заснуть, когда на нем сидят кошки.

Слева зашуршал газетой израильский поэт-коммунист, ужасный дебил. А сзади какие-то люди говорили вполголоса по-русски: "Что это за ресторан такой? девок нельзя склеить... сидят три пришмандовки... начали вывозить вьетнамцев-лодочников... слышали анекдот? Трое евреев встречаются в Монте-Карло... миллионер приехал... русский из Конгресса... фанатик... зовет всех в Россию... сулит золотые горы..."

"Россию", "Россию" - я не оборачивался. Я снова прикурил ментоловую сигарету и ясно все вспомнил. Я вспомнил, как ночью тебя вдруг подхватывает волна и ты можешь писать историческую прозу, а не только впитывать фольклор про Монте-Карло. Только нужно больше работать, меньше встречаться с русскими и постараться не пить каждый день.

Глава десятая. БОРИС ФЕДОРОВИЧ.

Писатель, которому я завидую, прежде всего нормально питался. Он жил на маленьком уютном островке греческого архипелага, спал в теплой постели и жрал шашлык из молодой баранины. Это Плутарх. А тут зябко жить и зябко писать. Бумаги даже нормальной не купить - пишешь черт знает на чем.

Когда я говорю, что завидую Плутарху, я имею в виду главные принципы, которые он ввел. Во-первых, это принцип парных биографий, связывающий судьбы в каждой паре вечной связью. Но еще существеннее другое: Плутарх был первым, кто начал создавать историографию на сравнении сынов Хама и Иафета.

Идея эта в некотором смысле условна. Сейчас вообще тяжело проследить абсолютно чистые линии, но и во времена Плутарха на многое приходилось закрывать глаза. То есть у меня нет никакого сомнения в том, что исходно Борис Федорович является татаринком, сыном Сина, а следовательно, типичным Хамом. И наоборот, Григорий Сильвестрович Барски, который еще не появлялся на страницах моих хроник, является Иафетом, хотя сомнительным. Но парадокс в том, что Борис Федорович Усвятцов - один из немногих в Израиле людей, кто удостоен звания полного еврея: он - коэн, левит, израэль, о чем существует справка, подписанная раввинской "тройкой". И решение это уже при всем желании люди изменить не в праве!

То есть "исраэль" - это еврейский плебс, ничего диковинного в этом нет. "Левит" - это племя Левино, право нести службу в скинии откровения и заведовать всеми песнопениями в Храме - для ковенца это готовая карьера. Но быть "коэном" - значит иметь права, недоступные простым смертным: это значит иметь доступ к жертвеннику, значит быть в Святой Святы за завесою! Все эти права у Бори есть! И то, что эти права раввинская "тройка" вручила спившемуся алкашу и вору, говорит лишь о том, насколько тщетны наши усилия на Земле. Хотя, несомненно, Борис Федорович Усвятцов сам является жертвой, и в Израиль оба раза попал именно из-за несчастной любви!

Первый раз он приехал с женой Раей, которую он подцепил в Бердичеве, где после очередной отсидки работал в автоколонне. Они познакомились в "пионерском" садике, и хоть, как он рассказывает, "она и не была целкой, но потом заплакала", а Борис Федорович ударил себя в грудь и сказал, что "я не такой, я женюсь". Посему вы сразу можете понять, что Борис Федорович человек благородный и романтик. И так он стал "исраэлем" де факто!

Но уже через несколько лет разъяренные ковенцы посягнули на его звание. За то, что Борис Федорович помог Шнайдеру продать арабам и пропить ешивский холодильник, ковенцы отправили его за казенный счет в город Мюнхен. И там он, опять как честный человек, решил жениться на фрау Маргарите Шкловской, но его удостоверение личности израильтянина на беду оказалось просроченным! А когда он на деньги невесты захотел вернуться в Израиль и все поправить, в аэропорту он был арестован

немецкой полицией и отправлен навсегда восвояси. Я не знаю более страшной истории крушения любящих сердец!

Но вообще немецкие тюрьмы Борис Федорович хвалит, говорит, что жратка там очень хорошая, телевизор цветной, восемь каналов, работать не нужно, и иногда он даже покупал себе яблочное вино. А в Израиле кормили несравненно хуже, и в основном курицей, в камере было невероятное количество людей, а телевизор был только типа в "ленинской комнате". Дольше всего, конечно, Боря Усвятцов сидел в Союзе! В конце сорок третьего года его взял к себе вор в законе, и сорок третий, сорок четвертый и сорок пятый годы он уже гастролировал со своим шефом и разными тоже Райками и Ритками по украинским вокзалам и рынкам. И его взяли с поличным на рынке в Днепропетровске и дали первый трояк. А добавки до двенадцати лет Боря начал получать уже в лагерях. Так что освободился он только в двадцать восемь лет, но зато на воле ему все ужасно нравилось!

В Иерусалиме он тоже по привычке попробовал себя на автобусном вокзале, но его несколько раз очень сильно избили, а потом посадили в Аккскую тюрьму, где он и сошелся с Володькой Шнайдером. А в Беер-Шевской тюрьме они уже сидели за голландские "визы", которые они предъявили в Машбуре: там половина кассирш румынки, и у них дурацкая манера: чуть что - вызывать полицию. Вообще в Израиле жизнь Бориса Федоровича сложилась не очень легко, потому что наличных денег он воровал мало, а ворованные чеки у него принимать отказывались. Промышлял он в основном на улице Агриппы (внука Ирода Великого) - от "Райского сада" до "Мамочки" - и поэтому повсюду примелькался. Иерусалим - небольшой город, здесь трудно воровать на улице, здесь люди знают друг друга в лицо.

Но вот после Мюнхена Борис Федорович жил у кантора Дунаевского, который плевал в мэра, и отсюда начинается цепь его чудесных превращений в еврея.

У Дунаевского был сосед, пытавшийся лишить его звания ответственного квартирнотенанта в довольно задрипанной квартире - полуамериканец-полуиндеец, прошедший "гиюр" (мистическое посвящение в евреи). И когда они чего-то не поделили на кухне, Борис Федорович отбил горлышко от бутылки водки и отчаянно полез драться. А этот цивилизованный индеец никогда раньше не видел таких страшных татарских рож, очень растерялся и всадил ему прямо в брюхо столовый нож. И вы бы растерялись!

Уже когда Бориса Федоровича выпустили из больницы и состоялся суд, идиотка-адвокатесса спросила потерпевшего, выпивает ли он, Борис Федорович степенно откашлялся и сказал: "Конечно". А на вопрос суда, каждый ли день он пьет, Борис Федорович, подумав, сказал: "У меня бывают перерывы по два дня!", - а потом важно добавил: "И даже по три!" Потом вызвали свидетеля Дунаевского, и тот, с презрением глядя на индейца, сообщил, что Борис Федорович выпивает "как правоверный еврей по субботам", и это тоже было только частичной правдой. Потому что по субботам, конечно, Борис Федорович тоже пил, но тогда он вовсе не был

никаким евреем, а еще был татарин.

Евреем же он стал, разводясь в раббануте со своей женой из "пионерского скверика". Фактически в раббануте должны были слушаться целых два дела: по установлению национальности супругов и непосредственно по разводу. Свидетелем у него проходил рав Бильдер в серой шляпе, который раньше был правой рукой академика Чеботарева по математике в самой Казани, откуда у Бори Усвяцова все кровные родственники. То есть свидетель был на редкость солидным. Рав Бильдер специально шныряет целыми днями около раббанута, чтоб совершать хорошие дела, а остальных свидетелей раввинам искать было лень.

И Борис Федорович все как требуется сообщил: что мамаша у него всю жизнь была еврейка, зажигала перед субботой свечи, а главное, надо было правильно сказать, как зовут его жену Раю или как ее называют какие-нибудь два еврея. И именно так ее называли два хайфских еврея, с которыми она в это время проживала и которые регулярно спускали Бориса Федоровича с лестницы, когда он, напившись, приезжал к ней просить на лечение предательской индейской раны в живот. И в конце процесса требовался совершеннейший пустяк, чтобы Борис Федорович произнес присягу, что он отпускает свою жену Раю, мне пришлось стоять рядом и диктовать ему, но когда мы дошли до формулы - ХИ МИГУРЕШЕТ МИМЕНИ - она изгнана от меня, - произошло вмешательство провидения, и больше ничем то, что случилось, я объяснить не могу: Борис Федорович неожиданно для всех присутствующих произнести эти магические слова не смог! После того, как двенадцать раз подряд он вместо "МИМЕНИ" произнес "МЕНЕМЕ", делая всю процедуру недействительной, раввинская тройка махнула рукой и стала выписывать свидетельство о разводе. Сидели три представительных ковенских даяна с поседевшими смоляными бородами и в круглых добродушеских очках и тревожно о чем-то переговаривались. Но из-за этих "менеме" они были так утомлены, что у них просто не хватило сил выяснить, кто же Борис Федорович - коэн, левит или просто истраэль. И основные строки - "ненужное обязательно зачернуть" - остались нетронутыми! То есть Борис Федорович формально выполнил все нужные пункты и, к безумному ужасу ковенцев, получил официальный диплом полного еврея, хоть чем он при этом может заведовать в Храме, осталось совершенно неясным. Песню он знает вообще только одну: "Я не умру, так с горя поседею", но поет ее скверно и после нее сразу засыпает. При этом по званию он теперь на две головы выше ешиботника Шкловца, который хоть и стал "истраэль", но во всех документах было сказано, что Шкловец всего лишь "перешел в еврейство", и не обратить на это внимания, конечно, было невозможно.

Впрочем, Борис Федорович - человек относительно культурный: он часто упоминает имя "специона африканского" - вообще очень интересуется пуническими войнами, особенно битвой при Заме. И очень подробно знаком с театром военных действий Второй мировой войны - даже может довольно точно вычертить дислокацию австралийских войск на Крите по пятитомнику Черчиля. Поэтому звание, присвоенное ему раббанутом, не такое уж

незаслуженное. Но теперь, когда в бухарском скверике ребята справляют "каббалат шабат" - сретение субботы - Борису Федоровичу ковенцы часто выговаривают, что он отказывается читать "броху", и он этим сильно недоволен. А когда степенный ешиботник Венька Бен-Йосеф заявляет ему резонно, что "тебе же звание присвоено!", Борис Федорович злится, начинает топтать ногами и сердито кричит: "Я этот диплом порву!"

Вообще у него начал портиться характер: напьется и начинает допытываться, помню ли я Володьку Шестопалова, или злится на Глинку, что никакого Сусанина на свете не существовало и Глинка его просто придумал из головы.

Про то, что Сусанин выдуман, я впервые услышал именно от Бориса Федоровича. А Володьку Шестопалова я не знаю.

Глава одиннадцатая. БЕРИ ВЫШЕ.

В "Таамоне" никого не было. Негр растолкал меня и сказал, что они закрываются. Может быть, Женя меня не заметил или просто не захотел меня будить. Хмель прошел. Я попросил негра в последний раз записать мне на счет и вышел на улицу. Запахло весной. Вот и еще одну зиму я здесь провел. Скоро уже пальцев не хватит считать эти зимы. Я услышал, что меня кто-то тихо окликает. Я подошел поближе. "Идите к Боре в госпиталь, - зашептал Арьев, - я буду там вас ждать!" Он совершенно уже рехнулся, при встрече со мной пока еще не нужны такие предосторожности. И я не собираю коробочки из-под фруктового йогурта, как покойный Габриэлов. Но жизнь на дне очень затягивает, и за средний класс меня принять уже нельзя.

Я пролез под колючую проволоку и стал ждать. Через несколько минут в воротах госпиталя возник черный силуэт. Мы спустились по винтовой лестнице в подвал, и я зажег толстую субботнюю свечу. Боря спал. Шиллера в подвале не было, но в углу за его матрацем стояла початая бутылка арака.

Пока я оглядывался, Женя вел со мной шепотом невероятно возвышенный разговор. Что пришли добрые люди с котом, и он струсил и сбежал с работы, но теперь он им благодарен. Иначе он никогда бы не решился начать новую жизнь. И мне он благодарен. Женя всегда немного плывет, и в разговорах его постоянно приходится одергивать. "Вы не могли бы зайти ко мне в офис и забрать оттуда мои вещи, - прошептал он, - я приготовил записку!"

- Давайте я сделаю костерок, - сказал я громким голосом, но Борис Федорович даже не шелохнулся, - у них тут дрова запасены. Пожрать вы с собой ничего не захватили?

- Что мне, с собой бутерброды таскать?! - недовольно отозвался Арьев.

- Не сердитесь, вот у Бори есть редиска. Он уже ничего толком не может украсть, кроме редисок. Докладывайте, что с вами стряслось. С женой опять не заладилось?

- Перестаньте строить из себя Смердякова, - прошипел он.

- А вы перестаньте шептаться! Чего вы меня сюда ползком заставили

добираться? Поговорить о качестве прозы?

- Я дал подписку о неразглашении.
- Ох, ни хуя себе! О неразглашении чего?!
- Большого я вам пока сказать не могу.
- Женя, вы удивительный болтун. Вы уже почти все сказали.
- Не ловите меня на слове!
- Вы поступили работать в КГБ?
- Бери выше!
- Выше я не знаю. Ваше здоровье!
- Крепкая, зараза. Знаете, чувствую себя обновленным человеком!

Мы пили арак из горлышка и закусывали редиской, Арьев сообщал мне прямо поразительные вещи! Этот трепетный человек, этот эстет с большой печенкой вдруг устроился в какое-то тайное русское общество, ля ренессанс рюс!

- Ну хорошо, русский союз, Молодая Россия, но при чем тут вы? - недоуменно выпрашивал я. - У вас еврейский индекс пятьдесят четыре?

- Индекс липовый. И они об этом знают. Я - русский, хорошо бы вам это запомнить! - упрямо отвечал мой собеседник.

- Хорошо, хорошо, я не против, я тоже русский.

Борис Федорович Усвятцов перевернулся во сне и что-то промышчал.

Мы еще выпили, и Арьев продолжал болтать о русских реформах. "Зашевелились! Они думают теперь колонизировать Аляску. Но старец сказал свое решительное "нет!", пусть гады возвращаются! Этих туда, а тех - сюда! И знаете, кто их повернет? Пресса! Их повернет наш печатный орган. Эта газета изменит судьбы мира!"

Женя был страшно взвинчен. Он размахивал своими нелепыми руками, и на мрачных госпитальных стенах от костра отражались длинные тревожные тени.

- Вы имеете хоть отдаленное представление о том, как делается газета?

- Я закончил с отличием тартуский филфак!

- Мы все тут что-нибудь закончили, - сказал я.

- Понимаете, - пьяным голосом орал Арьев, - Министерство Интеграции хочет купить старика - и израильтян можно по-человечески понять, евреев сюда пока больше везти нельзя. Тогда самим нечего будет жрать. Конечно, живы сионистские идеалы, но людей нельзя селить в юртах! Они все-таки не монголы! И зря старец не готов ни к каким компромиссам! Но он неподкупен. Чист как кристалл. А претворять его идеи за гроши приходится нам, рядовым работникам "Конгресса"! Только вы никому не говорите, что я с вами делюсь, - это в ваших же интересах. Они вас раздавят!

- Меня уже некуда дальше давить. Так это и есть "Русский конгресс"? Я уже имел счастье слышать.

Женя картинно развел руками: "Через пять лет в России не останется ни одного еврея! "Национальный обмен" - вот главная идея старика! Помочь всем угнетенным нациям вернуться в точки исхода. И вернуть России всех генетически русских!"

- Бред! Каких русских?! Разве что вы сами и пять придурков в Аргентине. Но я не видел еще ни одного человека, который готов вернуться в Новую Москву. И как вам удастся их отловить? Или вы их клиппируете, как аистов?!

Женя посмотрел на меня внимательно, но сдержался и ничего не сказал. Я понял, что он чего-то не договаривает.

- Слушайте, Арьев, шепните мне по-честному, вы же не поддерживали "Указ 512"?! Зачем же вы с ними сотрудничаете? Вы плохо кончите.

- Может быть и так, - сказал он, на секунду очнувшись, - терять мне все равно нечего. Вам никогда не приходилось служить в национальном офисе? Сидеть там с половины восьмого до трех и молиться на свой индекс?! Единственная отдушина - это читать в сортирах детективы. А тут запахло свободой и жизнью. И все-таки делаем настоящее дело! Скоро в Израиле появится свой Нобелевский лауреат!

- В какой области?

- При чем тут области? В литературной области! В изящной словесности. Я только изумленно присвистнул.

- А кого вы собираетесь отрядить в Нобелевские лауреаты? Ирину Левинзон?! Или, может быть, Гришку Вассермана?

- Это еще кто? Поэт? Сколько их развелось! - Женя неодобрительно раздул ноздри. - Нет, скорее всего, выдвинут Мишку Менделевича.

- "Армяшку"? - опешил я.

- Да вы читали его дремы о русском корне? Старец был потрясен!

- Я не читаю по-турецки.

- И зря! Впрочем, есть переводы. Я впервые кому-то позавидовал - талантище! Даром что бакинец.

- Слушайте, может быть, вы и сами надумали вернуться? - спросил я с любопытством.

Арьев деланно засмеялся: "А почему бы и нет? Все куда-нибудь возвращаются. Все равно скоро подохнем. Если вы захотите, я скоро смогу начать вас печатать. Да не стройте из себя девственницу! Раз пишете, значит желаете видеть себя напечатанным. Если старцу Ножницыну подойдет, я смогу брать у вас по одному материалу в номер. Тема не имеет значения".

- У вас что, ежемесячник? - как можно вежливее спросил я.

- А черт его знает, я еще сам не разобрался. Говорят, что это будет не простая газета, а, так сказать, для вождей. Вроде предостережения.

- Кто же это вам говорил?

- Кто надо, тот и говорил. Начальство говорило. В общем, ждите меня здесь по четвергам, и пока никому ни слова. В это же время, и приготовьте какой-нибудь стоящий материал. Этот упырь пусть тут пока валяется, а второго юродивого мы отсюда перевели.

Я решил, что ослышался, и промолчал.

- У вас нет с собой немного денег? - спросил я. - В виде аванса.

- С деньгами сложность. Я же сказал вам, что текст должен понравиться старцу. Сколько вам нужно?

- Дайте сто шекелей. Или знаете, дайте сразу сто двадцать. Если рассказ не подойдет, то я вам верну.

- Брат! Ты сделаешь так, чтобы рассказ подошел! - жестко отрезал Арьев и стал подниматься к выходу.

- Я постараюсь, "брат", - сказал я ему вдогонку. И вдруг увидел, что Борис Федорович не спит и пристально из темноты на меня смотрит.

- Продался хриstopродавцу? - торжественно спросил он.

- Продался, продан, - ответил я недовольно.

- Если эта гнида что-нибудь сделает с Шиллером, я ему пасть порву.

- Конечно, Боря, порвешь, - сказал я устало, - но лучше тебе самому отсюда убираться.

Он зло засопел, потом пробурчал:

- Возраст уже не тот - мне хата нужна с плитой. Веди меня к христианам - пусть везут в Европу, я согласен.

- Хорошо. В следующий понедельник пойдем, в Йом-шени. Только не пей с утра - Ван-Хувен этого сильно не любит.

Глава двенадцатая. АРЬЕВ НЕ СОВРАЛ.

Держа деньги в руках, я поплелся домой. Теплый ветерок из спящей кондитерской потрепал меня по лицу. Где-то в конце мира, на краю бездны, брести к себе в бревенчатый сарай, думал я. Вот то, чего ты хотел. И добился. Ты свободен. Ты на хуй никому не нужен. Кроме Бориса Федоровича и этих джигитов, которым ты должен за квартиру. И самый близкий тебе человек Арьев все время мелет чепуху про дружбу, про нехватку чуткого собеседника и пугается теней от костра. А теперь еще вступает в эту таинственную русскую лигу, и до него уже не достучаться. Но даже Боре Усвяцову помочь я не в состоянии. В христианское посольство я его, конечно, отвести смогу. Тут есть такие придурки. Раз в год они нагоняют сюда баб в передничках, и те маршируют по улицам и скандируют, как они любят евреев. Но Боре там ничего не отколется - у него слишком высокий еврейский индекс.

Я носком открыл дверь своей парадной и неожиданно на чем-то поскользнулся. Тогда я включил свет. Вся лестница была усеяна бумагами, более того, я сразу понял, что это мои собственные папки. "Маккавеи!" - ужас промелькнул у меня мозгу. Уже несколько месяцев я не подтверждал свой индекс, но пока это могло ограничиться простым штрафом. Я побежал наверх.

В комнате творилось что-то невообразимое. Все было вверх дном, диван вспорот, перевернуты полки, разодраны картонные ящики, в которых я держал старые письма. Нашли где искать! Я тихонечко выругался и начал сносить вещи обратно к себе в квартиру. Соседи спали. Раскладывать книги по полкам я поленился - притащил все, бросил на пол и, обессиленный, опустился на стул. Меня уже второй раз пытались ограбить, но у меня совершенно нечего взять. Письма все смяты, фотографии сорваны со стен.

За один день у меня было слишком много впечатлений. Еще этого мудака Арьева подменили. Я видел много людей, которым начинает сниться нечисть, и сейчас это был кандидат номер один на психдиспансер.

На следующее утро я спустился в мясную лавку к хозяину и постучался к соседкам. Тайная полиция "маккавеев" всегда предупреждает соседей, но на этот раз никто ничего не слышал. Но прошло несколько дней, и ко мне в дверь кто-то осторожно постучался. "Нет никого? - чуть слышно прохрипел Аркадий Ионович (а это был он). - Закрой на всякий случай ставни, никто не знает, что я в городе".

Выглядел он встревоженным, и ему хотелось чем-то со мной поделиться. Я пошел ставить чайник, и когда вернулся в комнату, он уже извертелся на табурете.

- Послушай, - сказал он, - я немедленно отсюда уезжаю. Денег - ни гроша. На тебя вся надежда.

Меня поразило и то, что он впервые обратился ко мне на "ты", и то, что его лицо было как-то необычно вдавлено и перекошено по оси.

- Пора вам тоже завязать с питьем, - посоветовал я, - кажется, что по вам проехал танк.

- Молчи, у меня нет времени, - прошипел он, - ты был у меня дома? Такой, блядь, погром устроили, будьте нате! Но это еще не все. Я тебе сейчас порасскажу такое, что у тебя волосы встанут дыбом. Верные сведения. Плесни мне еще чая. Но проболтаешься - пеняй на себя!

- Вы все с ума посходили! - сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Я налил ему чая в большую кружку в горошек и слушал, не прерывая, пока он передавал мне сведения о списке жертв, о профессоре Тараскине и, наконец, о "Конгрессе".

- Ну как тебе? - спросил он наконец, глядя на меня и пытаясь понять, какие из его ужасных историй мне уже известны.

- Знаете, меня тоже громили, - сказал я, - но я решил, что это "маккавей".
- Да кому ты нужен! Разумеется, это "Конгресс"! Они всюду ищут вещи Габриэлова.

"О Господи, если это так, - подумал я, - то значит "брату Арьеву" поручили выманить меня из квартиры. Вот тебе и "нехватка чуткого собеседника!".

- Как фамилия этого эмиссара? - спросил я вслух.

- Барски. Грегори Барски. Прилетел из Стокгольма.

- Еврей?

- Черт его знает! Кто их сейчас разберет? С виду довольно гладкий.

- Фамилия знакомая. И вы действительно уверены, что они упоминали мое имя?

Аркадий Ионович вместо ответа покачал головой.

- Я уезжаю, - сказал он, - а ты как знаешь. Я тут больше не останусь ни дня. Всем заправляет старец Н. Скажет в Висконсине слово - и тебя тут сварят в кипятке.

- Не преувеличивайте! Не может быть, чушь какая-то.

- Еще как сварят. Ты - младенец. Ты бы видел, как они отделали

Габриэлова! Теперь на очереди Шиллер, но сами хороши! - грустно усмехнулся он. - Уволокли у этого шведа портфель на вокзале из-под самого носа.

- Столько лет спокойно жили, а теперь начинается какой-то бред. И зачем им понадобился Тараскин?

- Они ищут бывших журналистов, а Тараскин еще почище - он работал в "Вопросах философии". Теперь его стерегут два михайловца, ходят за ним по пятам: Леха и его батяня. Я их видел сегодня на улице. Профессор в чистом костюме - заговаривается, но совершенно трезвый. Им сняли контору в Рехавии.

- Как же ему удастся не пить?!

- Попьешь тут! Ампулу вшили в одно место: нос блестит, глаза выпучены, а пить боится. Используют его - и в расход.

- Да откуда вы все знаете?

- Знаю!

- И газета тоже при них?

- Газеты фактически еще никакой нет. Иначе им не нужен был бы Тараскин. Старец дал приказ открыть газету, и теперь они роют землю, ищут толкового редактора. Управляет всем этот толстый боров. Остальные все пешки. Страшный человек. Ловит гири на шею.

- Какие гири?

- Какие-то гири. Настоящий людоед! Куинбус Флестрин. Тоже называет себя писателем. Можешь обменяться с ним опытом.

- А что это за история с Нобелевским лауреатом?

- Ах, ты и это слышал! Можно сдохнуть. "Армяшка" носится по Бен-Иегуде и всем докладывает, что он пишет лучше Бродского.

- Но вы смотрите, они и Фишера окрутили!

- Это как раз не удивительно - Фишер чует деньги. Сам этот Барски без гроша, но старец Н. сидит на бочке с золотом! Нам-то от этого не легче - надвигается чума. Я вожу их за нос и пока ничего не подписал. Мне просто страшно. Зря ты меня не слушаешь: надо уезжать!

- Да плевать я на них хотел.

Аркадий Ионович вздохнул. Допил остатки чая. Взял двадцать шекелей и пакетик с бутербродом, который я ему завернул, и на цыпочках вышел.

Барски без гроша, но старец Н. сидит на бочке с золотом! Нам-то от этого не легче - надвигается чума. Я вожу их за нос и пока ничего не подписал. Мне просто страшно. Зря ты меня не слушаешь: надо уезжать!

- Да плевать я на них хотел.

Аркадий Ионович вздохнул. Допил остатки чая. Взял двадцать шекелей и пакетик с бутербродом, который я ему завернул, и на цыпочках вышел.

Глава тринадцатая. КОВЕНСКАЯ ЕШИВА "ШАЛОМ".

Встреча, о которой мне рассказывал Аркадий Ионович, меня, надо признаться, ошарашила. Теперь я уже точно выяснил, что через двое суток после эпопеи с котом Григорий Сильвестрович Барски позвонил в ковенскую ешиву "Шалом" и представился.

Он сказал, что находится в Святом городе со специальной миссией, являясь посланником "Русского Конгресса". И что не далее как этой осенью был удостоен аудиенции у Верховного ковенского Гаона! И Гаон настоял на том, чтобы, находясь в Иерусалиме, Григорий Сильвестрович обязательно заручился поддержкой ковенцев, и прочее, и прочее, и прочее. По этому поводу он и звонит.

Надо отметить, что финансовое положение ковенской ешивы было к этому моменту весьма нестабильным. На бедность, конечно, никто не жаловался, деньги вкладывались неплохо. Но с другой стороны, время было смутным, правильнее сейчас было покупать недвижимость, но коль скоро ты этим занимаешься, банковские платежи даже в Святом городе пока все-таки оставались несвятыми.

А поступления от Великого Гаона были, разумеется, как солнечный свет или как воды Мерава, но если бы им быть еще чуточку пообильнее! Кроме того, с ковенцами соперничали два других русских духовных центра: дела и у сатмарцев и у любавичских хасидов шли замечательно, и отвоевывать у них сердца новых эмигрантов тоже стоило пару копеек.

И когда Григорий Сильвестрович сказал по телефону, что Фишера в Нью-Джерси по-прежнему помнят и ценят, его пригласили в ешиву незамедлительно.

Впечатление на ковенцев Григорий Сильвестрович произвел смешанное. Что может быть общего у постигшего еврея с, извините меня, представителем "Гойского Конгресса", с настоящим русским хамом с бритым затылком и маленькими голубенькими глазками! (Не при Моисее Шкловце будет сказано: в блестящих комментариях Раши есть четкое указание, что "при прозелите, и даже при его правнуках до десятого колена, не следует дурно отзываться о неевреях!") И затылок, конечно, затылком, но что-то в глубине души подсказывало раву Фишеру, что гость этот подозрительно свой. То есть такой хват, что правильнее будет держать глаза и уши открытыми, а у человека, может оказаться, есть что сказать. Даже если допустить, что болтовня Аркадия Ионовича являлась правдой, что Барски был в опале и старец Ножницын не ставил его ни в грош, то это в жизни никому в голову прийти не могло. Он говорил о старце свободно, с большим уважением, но без тени подобострастия. Себя же Барски определил скромным литератором и художником боди арта, ну и, кроме того, безымянным солдатом "Русского Конгресса", маленьким винтиком большой машины, которую ведет старец.

Еще он сказал, что четко понимает свою ответственность перед Россией и

перед российским еврейством, возвращающимся на историческую родину. И "Русский Конгресс" готов протянуть возвращающемуся еврейству руку материальной помощи. Если потребуется.

Главный упор доктор Барски делал на "последнем национальном обмене" и на русской крови, которую по заданию старца он повсюду разыскивал. Чего бы она ни стоила.

"Старец считает, что русские - это в каком-то смысле евреи будущего! - произнес высокопарно Григорий Сильвестрович, глядя прямо в глаза шаломовцам. - Но в отрыве от Святой России русские становятся мировой заразой! И русская кровь, разбрызганная по планете, должна вернуться к своим истокам!"

В общем, в словах гостя не было никакого миссионерства, никаких "крещений Руси" - то есть ничего опасного или оскорбительного для ковенского уха, кроме, может быть, слабого экуменистического душка.

Еще он сказал, что для него большая честь познакомиться с Бецалелем Шендеровичем, у которого в издательстве "Шалом" только что вышел потрясающий трактат. Шендерович смущенно зарделся. Трактат был о добровольности отделения майсера и трумы - о тех мирных жертвах, которые ковенские жены выносили в целлофановых пакетиках к помойкам, и доктор Барски сделал по поводу текста несколько грубоватых, но точных замечаний. И о еврейских нотаблях он слышал, и о системе сфирот он, разумеется, знал, и на Седьмой авеню побывать успел, то есть видно было, что подготовку прибывший прошел самую основательную.

О старце Ножницыне гость еще добавил успокаивающе, что Андрей Дормидонтович искренне ненавидит, когда евреи крестятся в православие - топает ногами, плюется и кричит, что у каждой исторической нации имеется собственный путь. И для России опасны не сотни тысяч простых еврейских тружеников, которые с уважением относятся к традициям своих отцов, а опасны несколько сотен неоварягов, которые сидят где-то под видом русских математиков, мешают всем жить и мутят воду. Но и русские, которые не готовы вернуться в Россию, играют аналогичную позорную роль.

Рав Фишер, слыша такие слова, только благословил судьбу, что на совещание не был приглашен Пашка Бельдман, который все эти песни про русскую кровь ненавидел, а Фишер его, к сожалению, откровенно побаивался. Говаривали, что Пашка уже принял клятву "маккавеев", а кроме того, он что-то знает о коммерческих делах рава Баруха-Менахема Фишера, чего посторонним знать вовсе не следует, и держит этим начальника ешивы в своих руках. Эффект речей доктора Барски был неожиданным. Шкловец и Шендерович делали вид, что они не понимают ничего, ну буквально ни единого слова! А Фишер сидел, развалившись в кресле, и довольно безучастно слушал. Видно было, что ему не терпится остаться с гостем наедине. И каждый раз, когда Шендерович или Шкловец открывали рот, чтобы сделать замечание, Фишер очень недовольно и болезненно морщился.

Наконец, Григорий Сильвестрович приостановил свой рассказ и подвел черту. "Вы спросите, чего же я, собственно, ищу?! Я вижу, что вы хотите

реального и четкого ответа! Я вам отвечу. Более того, мой ответ уже утрясен с Великим Гаоном! - сказал Григорий Сильвестрович, подняв руки к небу. - Мне нужен Нобелевский лауреат от вашей ешивы!"

Шендерович и Шкловец только разинули рты. Даже рав Фишер не удержался и озадаченно крикнул. И в этот момент доктор Барски приоткрыл, наконец, свои карты.

Он напомнил, что следующий год по инициативе ЮНЕСКО объявлен годом экуменизма. И Нобелевский комитет, в связи с этим, полностью меняет на год порядок выдвижения кандидатов: обязательным будет проведение региональных литературных конкурсов, и все до последнего кандидаты будут представляться различными религиозными институтами. И вот старец Андрей Дормидонтович Н., у которого вообще-то нету времени следить за сиюминутными литературными событиями, тем не менее, сумел гениально предвидеть, что победитель следующего конкурса, во-первых, должен проживать в Иерусалиме и, во-вторых, иметь еврейское происхождение. А задача Григория Сильвестровича - как-нибудь его разыскать и взять эту поэтическую душу под опеку своей газеты. Да, да! Речь шла именно о поэте Михаиле Менделевиче, авторе "Поэтических дрем"! О Менделевиче, который умел слагать стихи на узбекском, на турецком, на русском, на иврите, но и не только! И, несомненно, являлся поэтом самого всемирного масштаба и мощи. Неважно, что последнюю пару лет он уже не числится студентом ковенской ешивы: старец имел наслаждение прочесть блестящие переводы из Иегуды Галеви, которые по заказу издательства "Шалом" Менделевич создал прошлой осенью. И нобелевское выдвижение от ешивы можно было оформлять практически безо всяких натяжек. А работа по подготовке к иерусалимскому региональному конкурсу уже кипела! Главный конкурент Менделевича - поэт-трибун Ури Белкер-Замойский, например, шел от ортодоксальных иерусалимских церквей, и его так интенсивно поддерживала Москва, что Андрей Дормидонтович по-настоящему бил тревогу.

- А вы, надеюсь, знаете, что этот Менделевич когда-то состоял в католическом кружке? - не удержался и завистливо ляпнул Шкловец.

Григорий Сильвестрович укоризненно посмотрел на Шкловца и ответил, что "да", что он, разумеется, все знает, но нужно уметь прощать заблуждения молодости. Чаадаев, к слову сказать, тоже был католиком, а старец Н. уважает его как мыслителя и почитает себе равным. "За кем не водилось грешков!" - ласково добавил доктор Барски, и у постигшего Шкловца в одно мгновение рубашка и даже все кисточки цицим прилипли к спине, и дальнейшая беседа только с трудом доносилась до его слуха. Кажется, он понял.

"Старец Ножницын имеет достаточно заслуг перед миром, чтобы этот мир считался с его нобелевским выбором! - торжественно выкрикивал доктор Барски. - И старец Андрей Дормидонтович заверяет западную демократию, что именно "Русский Конгресс" поможет миру освободиться от вмешательства русской нации! На это старец бросит все свои миллионы! Но

и наоборот..."

- Но и наоборот, - повторил Григорий Сильвестрович более спокойным голосом, - кстати, насколько мне известно, у вас в ешиве есть много русских...

Глава четырнадцатая. ВАН-ХУВЕН.

"Мартовское утро синело, голубело за окном, и, как гул моря, нарастал мерный шум базара", - написал я и задумался. Все-таки жизнь - загадка! Один живет семьдесят лет и не умнеет, а второй даже не рождается. За моим окном ничего не синело и не голубело. За моим окном небо становится видно, только если из него высунуться по пояс. Я точно решил, что если Борис Федорович с утра заявится ко мне пьяным, то ни в какое посольство христиан я его не поведу. Но в полдесятого вместо Бори ко мне ввалился Семён Черток. "Вставать надо пораньше, мыслитель, вот уже полиция гавкает", - сказал он. Базарная полиция в половине десятого поздравляет израильский народ с началом торгового дня и просит не оставлять без присмотра велосипеды.

- Слушай, писатель, такой вот к тебе интерес: есть пятьдесят килограммов хорошей денежной бумаги. Все чистенько - без грузин. Нужен абсолютно надежный художник и свой типограф. Или хотя бы на пару месяцев типографский станок. Попроси Андрюху Р.! Тебе он не откажет.

- Андрюха Р. вернулся из Москвы, повернулся лицом к стене и лежит. Его еще ни разу никто трезвым не видел. Судебный исполнитель у него даже собачку описал, Коку. Какой из него работник! Да и вообще, почему ты решил обратиться ко мне?

- Знаешь, я все-таки считаю тебя писателем, хотя и очень плохим. И кончай ты из себя строить: не может у тебя не быть знакомой типографии.

- А если я тебя продам? - засмеялся я.

- Ты не продашь, поленишься.

- Слушай, Черток, уходи по-хорошему. Нет у меня никаких типографий - я писатель без типографий.

Я еле-еле успел его спроводить к приходу Бориса Федоровича. Боря был в свежей розовой рубашке, от которой пахло Машбиром, и под мышкой кулек с жуткими серыми сардельками.

- Сарделек купил, свари! - попросил Усвяцов.

- Ты бы и мне чистую рубашку где-нибудь купил, - сказал я.

- Не было твоего размера, - ответил Борис Федорович, - ты давай побыстрее, дело надо делать.

"Что за культ дела существует в русском народе! - думал я, глядя как Борис Федорович жадно заглатывает сардельки. - Тут тебе и "дело, которому ты служишь", "дело 306", "дело пестрых". Да что там Усвяцов! Как будто у меня у самого не холодеет внизу от магического слова "надо"!"

Боря поел, и мы пошли пешком на узенькую улочку, название которой мне,

хоть убей, не запомнить. В трехэтажный особнячок за золотой доской, где любят ближнего своего. Где, если ты посмотрел на женщину с вожделием, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем! Нервничал Боря жутко. А внутри посольства он просто онемел: такой роскоши со швейцаром он не видел никогда в своей жизни. До самого посла Ван-Хувена нас, конечно, не допустили. Я даже не вполне уверен, что этот посол реально существует, что он не мираж в пустыне и не летучий голландец. Но зато, пока Боря озибался на роскошные хрустальные люстры, я сел на плюшевый стул - прямо перед секретаршей в кокошнике - и кратко изложил ей Борину трудовую биографию. Ни про каких "фраеров" и "сук" я рассказывать на всякий случай не стал, а просто объяснил ей, что Борис Федорович уроженец стольного града Казани и в прошлом известный казанский демократ, которого очень обижало притеснение русской церкви. Голландская секретарша в металлических очках понимающе мне кивнула. С другой стороны, сказал я, Борис Усвятцов всю свою сознательную жизнь боролся за религиозные права казанских евреев и получил за это два срока, один из которых ему навесили в лагере. И вот из этих двух обстоятельств его жизни она может выбрать любое, которое ближе ее конфессии.

Секретарша была чудовищно, просто невероятно худая! У меня язык не поворачивается просить на хлеб у таких худых секретарш. Сколько мне при этом не болтай про религиозные догмы. А посмотрите - каких красавиц нам поставляет голодающая Москва! Посмотрите на секретарш в министерстве национальной абсорбции! Какие Вакх и Церера, какие московские Андромеды с каштановыми глазами, богини израильского плодородия! Попроси - и эти дадут! А что можно выпросить у секретарши, которая худая, как фанера, сколько бы ты не прелюбодействовал с ней в сердце своем?! Институт секретарш - очень тонкий институт! Что приключилось с тобой, Голландия! Видно, прошло время, когда державные цари числились твоими плотниками. Что за Ван-Дейков ты шлешь нам, в которых не могут поверить даже неразборчивые румынские кассирши! Отощали твои Саскии! Да и какая вера возможна при такой возмутительной худобе! Министерство национальной абсорбции - вот во что следует верить тебе, одинокий странник! Чтобы оно абсорбировало тебя в своих виноградниках, чтобы надежно сжало тебя своими пышными бедрами!

Секретарша Ван-Хувена, видимо, работала в посольстве недавно и таких демократов, как Боря, до этого тоже не видела никогда. Удачно, что он спер эту идиотскую розовую рубашку! "Его лечили принудительно в доме для душевнобольных, КЕЙДЖИБИ", - добавил я полушепотом. Я знал по своему опыту, что это слово действует на них безотказно. Когда секретарша звонила по телефону наверх, у нее заметно дрожали РУКИ.

Я подождал, пока вниз спустятся еще две немолодые барышни, мрачно кивнул им и вытащил свой последний козырь.

"И вот, когда из-за нас, вдоволь настрадавшись по лагерям, этот честный человек, сионист, историк, приезжает, наконец, в Израиль, - глядите, какую встречу ему приготовили эти люди, за которых он боролся! Боря, покажи

живот. Чуть-чуть. Слишком не закатывай! Какой-то сумасшедший израильтянин воткнул ему в Иерусалиме нож прямо в живот, в желудок и в кишечник, которые у него и так еле-еле функционируют после советской тюрьмы!"

И я протянул барышням записку и цветную фотографию раненого Бориса Федоровича, вырезанную из газеты "Национальные новости".

В записке Борис Федорович Усвятцов фигурировал как бывший узник Сиона, которого зарезали на улицах Иерусалима, но не насмерть. Голландки были потрясены до слез. Пока я все это рассказывал, Борис Федорович зачарованно глядел на христианские ценности на полках. Мне даже пришлось пнуть его ногой под столом. Вещи были дареные, ручной работы, но продать их кому-нибудь в Израиле было абсолютно невозможно.

- Так вы говорите, что мистер Усвятсоф - татарин, - сказала в раздумье старшая из фрекен, - но мы не вывозим татар! В Иерусалиме совершенно нет татар. В этом месяце мы вывозим вьетнамцев. Спросите его, согласен ли он интернироваться во Вьетнам?

- Переводи, чего она от нас хочет, - попросил Борис Федорович.

- Она спрашивает, говоришь ли ты по-вьетнамски?

- Во дает! - возмутился Борис Федорович. - Это же за Китаем. Я туда не полечу, на хер сдалось! Ты сказал ей, что я ученый?

- Он говорит, что согласен только на Германию, - сказал я твердо, - у него там невеста. Мадам Маргарита Шкловская. Мюнхен - кажется, Флихштрассе или Флюгштрассе, номер точно четырнадцать. Адрес у него выкрали в больнице, но он помнит визуально.

Голландки посмотрели на Бориса Федоровича с нескрываемым сочувствием.

- Немцев мы вывозим только в октябре, - сказала одна из них. - Снова надо звонить.

На звонки ушло минут сорок. Говорили они, в основном, по-голландски, но из их разговоров я все-таки понял, что Борю пытаются устроить в христианский кибуц в северной Галилее, где ему все будут очень рады.

- Что он умеет делать? - спросила меня секретарша. Я перевел ему вопрос.

Борис Федорович посмотрел на меня абсолютно бессмысленным взглядом.

- Она хочет устроить тебя на время в кибуц, - добавил я.

- На какое время? В исправительный?

- Нет, в обычный, в христианско-социалистический.

- Мы ему поможем, - сказала главная фрекен, доставая из несгораемого шкафчика сто зелененьких долларов двадцатками. - И он с сегодняшнего дня будет в наших молитвах. Скажите ему, что эти деньги только на первое время. Но пусть обязательно принесет заверенную справку, что он сионист, но при этом не еврей! А то, знаете ли, мы не имеем права помогать евреям: есть старый "указ Абрамовича".

- От тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года! - как эхо отозвался я и поднялся.

- Значит, вы сами знаете! Хау найс! И конкретно подумайте, что мы можем

сделать для хорошего сиониста мистера Усвятсоф.

И мы вышли с Борей на улицу. Борис Федорович чувствовал, что произвел впечатление, и был чрезвычайно собою горд.

"Ну, пошли", - сказал он.

- Куда еще пошли?

- За справкой, что я не еврей!

- Боря, Боря! Мистер Усвятсоф! - разразился я целой тирадой. - Ведь раббанут тебе выдал справку, что не не еврей, а еврей! Да еще какой!

Борис Федорович горестно опустил плечи и задумался.

- Давай ту справку порвем! - умоляюще попросил он.

- Вот что, Боря, ты меня послушай внимательно! У меня есть точные сведения, что всех русских повезут обратно. Ты спрашиваешь, куда обратно? Обратно в Казань. Там уже едят крыс. Но даже если тебе повезет и ты окажешься в Германии, то как же ты там будешь мыкаться? Ты думаешь, что она тебя ждет?! Не смей. Она давно утешилась с полицейским или с пожарником. Женщины не умеют ценить верность. У Киплинга об этом написана целая поэма. И смотри, в кибуце тебя тоже долго держать никто не станет. Кибуцам нужны откормленные белые шведки. А тут ты всюду фигурируешь как максимальный еврей, как еврей евреев! Даже в раббануте! И кроме того, эти бабки тебе обязательно еще пару раз кинут по сотне - я их как облупленных знаю. И с твоим аттестатом "левита" ты рано или поздно получишь пенсию по возрасту. Да и как ты докажешь теперь, что ты "нееврей"?! Никак. Это теперь навечно.

- Ну, а что же мне в таком разе с этими облигациями делать? - попыхтев несколько минут, спросил Усвятцов.

- А вот на это я тебе с удовольствием отвечу: нормальный человек положил бы их в "Национальный банк" и закрыл на долгосрочную программу. И через пять лет вместо этих ста долларов у тебя будет сто тридцать, и тогда ты сможешь их пропить. Но это можно сделать прямо сейчас. И в ресторане. Тем более, что я три дня уже ничего не ел. Только не заставляй меня покупать три бутылки кубанской водки, мышинные сардельки и все эти отвратительные израильские салатики. И идти с ними в бухарский скверик.

- Я тебя угощаю, - по-царски выговорил Борис Федорович, - но ты позвони сначала в милицию, спроси где Данька Шиллер!

- На каком языке я их спрошу?

- Ну, так попроси кого-нибудь. Я ему доллар заплачу, - сказал он с достоинством. - Гардеробщицу попроси!

- Да откуда там гардеробщицы!

В полиции ни о каких "шиллерах" шестьдесят второго года рождения сведений не оказалось.

- Ты не беспокойся, Боря, - сказал я. - В полиции такой же бардак, как и всюду. Скорее всего он где-нибудь запил, что же ты, Шиллера не знаешь?

- Лучше бы он сидел, - сказал с большим беспокойством Борис Федорович, - ему нельзя зимой освобождаться, у него легкие слабые! Ты чего себе будешь заказывать?

Я заказал рыбу, а Борису Федоровичу принесли два грузинских шашлыка, которые оказались не шашлыками, а просто непрожаренным мясом на шампуре. И пока мой товарищ пьет водку "Кармель Мизрахи" ришон-ле-ционского разлива и рассказывает, какие в Кишиневе он отведовал шашлыки для замминистров, я должен сказать несколько пояснительных слов о сионистском движении и о кибуцах, куда голландские девушки пытаются устроить Бориса Федоровича.

Глава пятнадцатая. РУССКАЯ МАТЬ.

- Насколько мне известно, в вашей ешиве есть настоящие русские, - повторил Григорий Сильвестрович более спокойным тоном.

"Сейчас бы взять всех троих и застрелить из какого-нибудь бесшумного пистолета, чтобы не оставлять свидетелей! А себе прострелить руку. .. - лихорадочно думал Моисей Шкловец, - и отправить их всех на поезде малой скоростью. Но куда их отправишь? Поезд на Хайфу уходит один раз в сутки в половине четвертого и идет всего три часа абсолютно пустой. Шендерович весит килограммов сорок пять - маленький и головастый, как Марат! А этого краснорожего "писателя" оторвать от земли и сунуть в вагон без посторонней помощи я не смогу, тем более с простреленной рукой. И полная ешива людей..."

- А может быть и хорошо, что они есть! - лукаво продолжал Григорий Сильвестрович. - Что вдали от политических арен они предаются, так сказать, религиозному росту. Но пришло время послужить России и претворить свои кабинетные знания в реальную жизнь! Не нужно. Пожалуйста, не называйте пока фамилий...

"Знает, - с тоской подумал Шкловец. - Всех знает поименно. Наверное, и про бабушку Анну Васильевну слышал: старая дура бегала по городу, рта было не заткнуть. Гнуснейший тип!"

А "гнуснейший тип" между тем разглагольствовал о том, как эти, так сказать, "евреи личного выбора" и "носители Божественной русской крови" могли бы успешно возглавить иерусалимское отделение "Русского конгресса" и готовить кадры для репатриации. Но все, разумеется, по своей воле и без малейшей тени насилия! И в таком духе он наплел очень много. Ясно было, что это какая-то отвратительная полувоенная организация, что доносов гость не боится, потому что на доносчиков - Григорий Сильвестрович пристально посмотрел на притихшего Шкловца - есть своя карающая рука!

- А во главе иерусалимского отделения должен встать человек, который не просто готов вернуться - этого мало! Он должен сражаться за возвращение, он должен олицетворять собою Возвращение! И, конечно, по документам он будет стопроцентным израильтянином, чтобы комар носу не подточил. И сам старец Н. обязательно хочет его видеть и рукоположить!

- У вас водички нет кипяченой? - неожиданно спросил он Шкловца. -

Никогда не пейте сырую воду и проживете до ста лет. Или больше. Мерси.

И на несколько минут в кабинете раза Фишера воцарилась полная тишина: Григорий Сильвестрович лениво рассматривал широченные тома ковенских книг в золотых переплетах. Шкловец и Шендерович, не поднимая глаз, чертили что-то в своих блокнотах, а рав Фишер закрыл глаза и с ненавистью трубил в свои мохнатые ноздри: он давно уже хотел задать доктору Барски какой-то вопрос, но тянул и пока не решался произнести его вслух.

Шкловцу в эти минуты никто позавидовать не мог. Лицо его совершенно позеленело. Какое там "бесшумный пистолет" и "карающие руки"! Шкловец был в высшей степени невоенным человеком. Он ни разу в жизни не держал в руках оружия. И теперь вся жизнь пойдет кувырком! Уже сколько месяцев его жена просыпалась на рассвете и начинала причитать в постели - она предчувствовала беду! И повод для отчаяния был: ведь Григорий Сильвестрович не ошибся - в ешиве действительно паслось много русских.

Пашка Бельдман был русским по матери, но и у самого Шкловца мутер тоже была русская, из ткачих, правда прошедшая настоящий ковенский гиюр с посвящением. Но как же он, со своим математическим умом, додумался вытащить их вместе с бабкой в Израиль?! Руфь-моавитянка из Второго Лаврушенского переулка! Теперь вот сиди и жди, когда этот паршивый махновец Бельдман подставит тебе подножку. Уж у того-то мать никаких гиуров не проходила и спокойно себе вкалывала фельдшером в подмосковном городе Серпухове. Но Бельдмана начальник ешивы никогда в жизни тронуть не решится!

В ешиве, кстати, имелись и другие русские! Было еще ни много, ни мало пятнадцать деревенских мужиков, происходивших из-под Куйбышева, из жидовствующего села Михайловки. Они в основном проживали в религиозном районе Рамот и были жуткими запойными пьяницами. И это было не нормальное интеллигентное пьянство, как пил Володька Шнайдер или даже Аркадий Ионович, а именно какой-то страх Божий, дикое деревенское безобразие с беготней по Рамоту в кальсонах, и только вчера была пьянка с мордобоем у Кержиковых, о чем в этот день на активе ешивы уже состоялся специальный разговор. Кроме Кержиковых, пили еще Будаков и Вассерман, которого вырвало Кержиковым на постель. А из самих Кержиковых пили батя и два сына допризывника, и еще из Тель-Авива приехал племянник Николай, которого теперь звали Ашером, и он работал в Тель-Авиве на шведском самосвале. Никаких женщин вечером в доме почему-то не оказалось. Вообще женского пола среди михайловцев было очень мало. Они их тут сразу отдавали в какие-то закрытые школы, а потом замуж за пейсатых израильтян. Те даже не понимали толком, что жена у них "русия"! Видели, конечно, что белобрысенькая, но и только. Из закуски вчера были моченые яблочки и своя квашеная капуста, и еще Николай привез из Тель-Авива хорошую селедку и "Колу". А в маколете взяли пять больших бутылок "Голд стар" по 0,75 литра. И уже через час батя очень сильно напился и стал швырять в окно сохнутовские стулья, пока Николай его не осадил, сказав "дядя Гриша Кержиков, кончайте кидать, стулья дорого

стоят". И Шкловцу было понятно, что никого из этих людей в руководство "Русского конгресса" рав Фишер рекомендовать не может.

Если говорить начистоту, то начальника ешивы Моисей Шкловец откровенно недолголюбивал! Еще бы! Ведь вся ешива знала, что Фишер оказался на этом ответственном посту по простому недоразумению: на эту должность должны были назначить его брата. Но братья были удивительно похожи - оба рыжие и волосатые, как Исав, и посыльный Гаона вручил назначение не тому брату! А после уже поздно было что-нибудь менять, потому что у Гаона под это назначение была выпрошена специальная броха!

И любивший перед сном пофантазировать Шкловец часто рисовал себе мысленную картину, как начальником их ешивы по ошибке назначен гой! И кроме него, Шкловца, никто об этом даже не подозревает. И, конечно, толстая раввинша Малка ни слухом не ведает, что в подвале у этого гоя Фишера, который на самом деле по матери Рыбаков, спрятано одиннадцать чудотворных икон! По ночам этот Фишер-Рыбаков тайно спускается в подвал... и в этом месте фантазии Шкловца всегда обрывались, и додумывать дальше он не решался.

"Пусть бы он сам, этот выскочка, шел руководить этим идиотским конгрессом, - с ненавистью бормотал Шкловец, - и так вся религиозная жизнь ешивы держится на моих плечах! Раввин называется! Ничего святого, старуху-процентщицу через дорогу переведет и - топориком!" И словно в насмешку, когда Шкловец уже перестал сомневаться, что жертвой окажется именно он, рав Фишер встал и сказал несколько весьма уважительных слов о своих соратниках. Сказал, поклонившись в обе стороны, что без этих светлых еврейских голов он не принимает ни одного ответственного решения. Что влияние Шкловца и Шендеровича на развитие ковенской мысли беспредельно велико! Но так как для него Григорий Сильвестрович в первую очередь является "мессенджером" Великого Гаона, то он просто вынужден переговорить с гостем с глазу на глаз.

Оба соратника понуро вышли за дверь. А рав Фишер встал из-за стола, прошелся тяжелой походкой по комнате, поплотнее закрыл за активом дверь и задал Григорию Сильвестровичу довольно неприятный и вполне естественный вопрос.

Глава шестнадцатая. "ЕВРЕИ В СССР", ИЛИ КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ.

Писать нужно при солнечном свете. Шекспир писал при ярком солнечном свете. Добролюбов всегда писал босиком. У Сервантеса вообще была одна рука. Я лежу на лужайке напротив кибуцной столовой и пытаюсь сосредоточиться. Сейчас пройдет несколько минут, и в пятках накопится достаточное количество солнечной энергии, чтобы я мог описать кибуц. В кибуцах не встают по сирене. Каждый встает, когда ему нужно на работу. Моя смена с восьми. До работы нужно успеть позавтракать. Я всегда беру на

завтрак редьку с майонезом. В кибуцах кормят даже лучше, чем в армии, хоть и в армии тоже кормят шикарно. В израильской армии и в советской совершенно разный подход. Русские считают, что чем хуже, тем лучше, раз солдаты уже выдержали несколько тяжелых войн, то выдержат они и еще.

В Израиле на завтрак солдаты получают крутые яйца, кофе пей сколько хочешь, девятипроцентный творог и еще кефир с бананом. А, например, в мотострелковом полку, в котором служил я, тоже было довольно большое подсобное хозяйство, но там держали в основном свиней. Если в Ленинградской области, предположим в Киришах, стоит полк в две тысячи человек, то, наверное, кормить их паштетом из гусиной печени или клубникой со сливками никто не станет. И разводят свиней. Свинина - главная часть солдатского пайка. Офицерам - мясо, а солдатам - сало! А есть его совершенно нельзя даже не потому, что в полку полно мусульман и есть евреи, а потому что это отвратительный брусок со щетиной из неопаленной гарнизонной свиньи. И кроме самого сала есть еще щи и каша, но тоже, разумеется, на сале. А если отказаться и от щей и от сала, то просто можно умереть с голоду. На флоте и в авиации кормят намного лучше; правда, у подводников совершенно нет аппетита: их там держат по полгода, не всплывая, и вылезают на свет бледные прыщавые подростки, которые не хотят есть. Ничего, даже воблу. Но одно дело - мирное время! А как лучше воевать в средней полосе - после анчоусов с каперсами или после горохового пюре - это еще вопрос. Все-таки после хорошей еды человек очень расслабляется. Если, не приведет Бог, наступит война, то теория будет проверяться на практике. Но если применять эту теорию к ленинградскому сионизму, то, как ни странно, тощая секретарша Ван-Хувена, называя Бориса Федоровича хорошим сионистом, была принципиально не права. То есть я не знаю, что происходит в стольной Казани, но во всяком случае в Ленинграде хорошими сионистами становились приверженцы именно сытой теории, а плохими или липовыми - исключительно приверженцы голодной. С той оговоркой, что наше время все-таки является мирным.

Обычно в Ленинграде сионисты встречались по субботам возле синагоги, и хорошие сионисты начинали петь "хэвэну шалом алейхем", которую придумал сам Жаботинский, а по вечерам крутили кинофильм о герое русско-японской войны Иосифе Трумпельдоре! А плохие сионисты собирались подозрительными группками, брали по паре бутылок и пиво и начинали придумывать, под каким предлогом можно заманить к себе иностранцев. И виноваты в этом отчасти были хорошие сионисты, потому что кроме своей основной сионистской деятельности, вроде празднования "пурима" и сбора денег на передачи Иде Нудель, в жизни сионистов был еще очень щекотливый момент получения посылок из Нью-Йорка с синтетическими шубами и джинсами фирмы "Врангель", правда, неходовых размеров, на такие немыслимые жопы, что хорошо сбывать их удавалось только в Ростове-на-Дону и в Ставропольском крае. И конечно, чем лучше и известнее был сионист, тем больше он получал таких фирменных посылок, и плохие сионисты испытывали естественное чувство зависти! Но если в этот

день никаких иностранцев в поле зрения не было, то плохие сионисты, посоветовавшись, отправлялись в "Тройку" или в финскую баню (сауну), где у сионистки Гуляевой муж работал банщиком. Надо сказать, что сама эта сионистка была очень известной в Октябрьском районе спекулянткой и ехать никуда не хотела, а ее муж, дядя Валера, который по национальности был татарин, собирался ехать в Америку. По статистике в Ленинграде какое-то невероятное количество татар. Ленинград - это город русских татар, и ничего плохого я в этом не усматриваю! Часть из них работает дворниками и частью банщиками. Это их наследственные профессии. От западносибирского ханства большинство банщиков оторвано довольно давно, но многие из них до сих пор придерживаются мусульманской традиции. А у Гуляевых были две общие дочери, Аллочка и Ирочка, и еще была старшая дочка Сонька от первой жены Гуляева, которой он в свое время дал татарский "гет" и отправил ее с глаз долой к родителям в татарскую деревню. Но саму Соньку он подверг ритуальному татарскому обрезанию, произведенному за некоторую мзду профессиональным мозлем Бронфманом, который обрезал, в основном, хороших сионистов, но и с татар имел некоторый дополнительный приработок. Сонька этой операции ничуть не стеснялась и сидела потом за проституцию, а сейчас живет где-то на Малой Охте, точного адреса я не помню. Пока Сонька была в лагере под Петрозаводском, ее сын болтался в основном у какого-то старшего банщика, основателя их рода, который воспитывал его в самом татарском духе, так что дяде Валере приходилось покупать для внука на Сенном рынке свежую конину, и он ее по несколько часов варил, пока Изабелла их от этого не отучила. Потому что вкус конины действительно безобразный. И она на пятьдесят копеек дороже, чем говядина. Пятьдесят копеек для плохого сиониста, у которого нет накопительской жилки, это целых две кружки пива! А если вы пьете на Садовой, то на шесть копеек сдачи вы еще можете купить пирожок с повидлом или тушеной капустой, а с мясным фаршем за десять. Конечно, ясно, что нормальный человек не станет брать под пиво пирожок с клубничным джемом, но пирожком с капустой закусить можно прекрасно, если он не очень холодный.

Кстати, и закусывали хорошие сионисты и липовые сионисты тоже совершенно по-разному. Кое-кто из самых хороших сионистов даже служил главбухом в елисеевском гастрономе, а для главбухов там раньше водилась и севрюга, и белуга, и колбасы разных небесных сортов. А для плохих сионистов на прилавок выбрасывали жирную краковскую колбасу или эти пирожки с капустой. И нажравшись этих пирожков, они начинали набрасываться на смуглых сефардских девушек, которые с познавательной целью приезжали в ленинградскую синагогу из Бухары и Чимкента. То есть сефардские юноши, видимо, тоже приезжали, но юноши из Чимкента никого на свете заинтересовать не могли. И если хорошие сионисты набрасывались на девушек с поучительными лекциями или предлагали почитать рукописный журнал "Евреи в СССР", то с чем на них набрасывались плохие сионисты, вы легко можете себе представить!

Бывали истории и почище! Например, у одного плохого сиониста Б. была одна очень хорошая знакомая, которая тоже читала эти рукописные журналы, но вступать с ним в интимные отношения без всякой видимой причины отказывалась. При этом она требовала, чтобы Б. взял у нее пятьдесят рублей и устроил ее в автошколу при ДОСААФ, где инструктором был его близкий приятель по фамилии Бурдейный. И вот Б. согласился за эту дамочку похлопотать, как потом оказалось, зря. Потому что в эту злосчастную осень Б. действительно был занят на работе, а после работы еще приторговывал финскими швейными машинками. Но когда чувство долга все-таки в нем перевесило и он понес эти деньги в автошколу при ДОСААФе, то по дороге, на Майорова, он встретил своего бывшего одноклассника, тоже еврея, но вообще не сиониста, просто работающего по найму в Палате мер и весов, а летом путешествующего на байдарке. И они пошли вдвоем в плавучий ресторан "Дельфин". А цены там приличные: водка около восьми рублей. А две бутылки - это уже шестнадцать! Котлеты по-киевски, то что раньше называлось "де-валяй", - шесть пятьдесят, и пятьдесят рублей часа за три они с этим евреем просадили. Согласитесь, что отдавать после этого свои собственные кровные деньги на банальную взятку было бы глупостью и гусарством. Даже если это хорошая знакомая.

А дамочка между тем занималась в автошколе уже около двух месяцев, хоть она оказалась на редкость бестолковой. И этот инструктор Бурдейный, который ее по благу устроил, начал открыто перед всей группой намекать, что пора бы подбросить на учебу. Но девушка попалась из очень приличной семьи, мама у нее давала частные уроки музыки, и она долго никаких намеков не понимала. А когда поняла, сразу побежала жаловаться хорошим сионистам и требовала, чтобы созвали суд чести! И те не придумали ничего лучшего, чем наклеузничать в ОВИР, пусть, дескать, Б. не дают выездной визы, потому что таким жуликам не место на Святой земле! В ОВИРе обещали дать ответ через неделю, но потом сказали хорошим сионистам, чтобы они разбирались сами.

И за учебу пришлось платить еще раз, потому что честь честью, а до зимы нужно было обязательно получить водительские права и переезжать из Ленинграда в город Петах-Тикву, что значит "врата надежды". А была уже самая середина октября.

Глава семнадцатая. СГОВОР.

Все-таки как по-разному можно остаться с глазу на глаз! Какой приятный момент нашей жизни, например, выпить вдвоем с человеком без претензий, который не затыкает вам рта и не разглагольствует о горнем. И какой кошмар остаться наедине с какой-нибудь сволочью, да еще наделенной светской властью, так что поневоле начинаешь поджимать хвост или сдабривать свой голос унижительной порцией меда. Но хуже всего остаться наедине с человеком, который не хороший и не плохой, вроде бы и не прямое

начальство, но голос на него поднять практически невозможно и даже, пожалуй, боязно. И посоветоваться не с кем. Нет, хуже всего остаться с глазу на глаз с человеком вот такой непонятной, неведомой и очень подозрительной группы крови. Так думал рав Барух-Менахем Фишер, расхаживая взад и вперед по своему просторному кабинету и раздумывая, с какой бы стороны разгрызть этот чужеземный орешек.

- Слушайте, милейший, - произнес он наконец, взяв Григория Сильвестровича за пуговицу, - но почему же ПРАВЕДНЫЙ не дал Вам никакого рекомендательного письма? Почему же ПРАВЕДНЫЙ не прислал мне знака?! - Голос раввина постепенно уходил вверх. - Почему он не прислал мне лацкана кармана или пуговички? Почему же, агроисер менч, я обо всем этом слышу в первый раз? Я официальное лицо, милейший, мне доверены сердца и судьбы верующих ковенцев! Почему же я сам, господин писатель, должен принимать все на веру?!

Он напал на Григория Сильвестровича. Он размахивал мясистыми кулаками перед самым его носом и вздымал их к потолку. Он бегал по комнате, спотыкался, как прибой, о ковровую дорожку и все сильнее мял и пинал ее на сгибах. Но через несколько минут он закашлялся, приостановился и приготовился слушать, что ему возразят.

Но Григорий Сильвестрович ничего не отвечал и загадочно ухмылялся: ему очень понравился рав Барух - приезжий был тертым калачом! Психическая атака дородного рыжего раввина никакого впечатления на него не произвела. Слушая вполуха, доктор Барски подошел к небольшому пыльному оконцу и с интересом стал разглядывать суetyающуюся магистраль знаменитого иерусалимского квартала. Что за чудо Меа-Шеарим в начале весны!

Черные ангелы-франты мчались навстречу друг другу, как стремительные эскадренные миноносцы. Парочки юных сойферов траурными бабочками порхали по узким тротуарам и, казалось, вот-вот должны были столкнуться насмерть лбами! Шли тяжелые баржи - ангелы-кормильцы семей с массивными гормональными задами, за которыми едва поспевали нежные астеничные важенки в силиконовых матросках. Как перископы подводных лодок, всплывали на поверхность очкастые шойхеты и мелаеды из окрестных ортодоксальных школ, неслись по течению красавицы-каравеллы в напудренных шотландских париках и угловатые незамужние канонерки с бледно-голубыми глазами и густыми пеньковыми косами! Что за прелесть эта весна! Но вот Григорий Сильвестрович еще раз улыбнулся своим мыслям и открыто повернулся навстречу степенному раввину.

И странное дело! Как ни различна была жизненная фабула этих людей, как ни разнились их оттепели и заморозки, бури, прибои и отливы, но любой человек, глядя в первый раз, как они стоят друг против друга на фоне портретов дер митл Ковенского Гаона и ковенских крыш со сладким дубовым дымком, подумал бы, наверное, что это два брата, два древних сказочных рыцаря Витольда, два кентавра со шпорами, два борца "сумо", которые, еще миг, и начнут толкаться массивными животами. И неизвестно, что могло бы еще померещиться прохожему, а между тем, они не состояли

даже в далеком историческом родстве. И если Григорий Сильвестрович всегда выдавал себя за Иафета, то рав Фишер был несомненным Симом. Но толкаться животами насмерть ни Иафет, ни Сим почему-то не стали, а еще через минуту кабинет заполнился теплым воркующим голосом Григория Сильвестровича Барски, "толстого-барского", как называли его когда-то однокашники и друзья.

Удивительным было вот что: рав Фишер, который никому в городе в ус не дул - да что там в городе! - тот самый рав Фишер, который, как бегемот, как слон, мог поставить на место любого всезнайку и еще утереть ему нос лихой арамейской фразой, а когда речь заходила о "краеугольном камне", то могучий ковенец всегда успевал подумать, что речь идет именно о нем, - так вот этот рав Барух-Менахем Фишер на несколько минут вдруг абсолютно стушевался, чего с ним за всю жизнь практически никогда не случалось. Он вдруг заметил, что сидит, как проситель, на самом краешке своего великолепного кресла, но как оказался в нем, начисто не помнит! Так что приходилось думать о высших силах, в существовании которых рав Фишер и так ни капельки не сомневался.

От слов этого чугунного гостя голова рава Фишера начинала ходить ходуном. Ему самому понятно было, что Григорий Сильвестрович именно захлопотался в Европе, и в Израиль ему было вовремя не выбраться. И что портфель с письмом был украден или бесследно исчез - в это тоже можно было поверить. Ну а уж что у ПРАВЕДНОГО идет седьмой (юбилейный) год, что Великий Гаон покоится, никого не принимает, не звонит по телефону и не отвечает на письма - рав Фишер знал сам лучше, чем кто-либо другой. Потому что о ешивской казне сегодня можно было вспоминать, только сощуривав один глаз и поморщившись. И понятно, что в юбилейный год ни о каких повторных рекомендациях от Великого Гаона и речи быть не могло!

Фишер по инерции продолжал задавать вопросы, но пора было уже давать задний ход и решать, как же из этой ситуации достойно выпутываться самому. Не поверить посланнику Великого Гаона - значило не поверить самому ПРАВЕДНОМУ! И если этот уважаемый человек к тому же божится, что он сможет гарантировать продвижение рава Фишера вверх на ковенском престоле, то несомненно стоило и рискнуть. Волшебный голос Григория Сильвестровича еще продолжал виться в ешивских стенах, еще он продолжал старательно объяснять, как необходима будет типография "Шалом" для приближения нобелевского торжества, а рав Барух-Менахем Фишер уже отчетливо понял, что ему, увы, ничего не поделать и придется рискнуть.

"Лучшая наша сотрудница безвылазно сидит в Нью-Джерси, и если Великий Гаон хоть на один час снизойдет, если ПРАВЕДНЫЙ хоть на один миг позволит себе вернуться к земному - все нужные свидетельства лягут, Борис Нахумович, к вам на стол! - по-свойски, по-русски сказал доктор Барски. - Мне же головы не сносить. И Нобель торопит!"

- Скажите, милейший, - перебил его, вдруг очнувшись, рав Фишер. "Нахумовича" он решил на всякий случай пропустить мимо ушей, - о каких деньгах пойдет речь, если я решу согласиться на ваш план?

- Вы получаете Нобелевскую премию целиком, и за русских - по головам, плюс транспортные расходы. Оплатите его банковские долги, чтобы его раньше времени не посадили, и с премии дадите пять тысяч. Нечего его баловать! Пусть пишет. Поэт должен быть бедным!

- Сколько же могут дать за эту премию?

- Когда как. Когда сто тысяч, а когда и все двести.

- Слушайте, милейший, неужели то, что пишет уважаемый Менделевич, может стоить так дорого?! - с сомнением в голосе пробормотал рав Фишер. - Это ведь громадная сумма!

- Да вам-то что за разница, стоит или не стоит. Это же поэзия, а не баклажаны. Раз платят - значит стоит. А пока составим общую смету и представим ее высокому начальству.

Фишер в задумчивости покачал головой и поглубже устроился в кресле. Определенно стоило рискнуть.

- И перестаньте вы серьезно относиться к их гиюрам! Вы же трезвый человек. Еврей не может перестать быть евреем и стать китайцем или французом! Я тоже, может быть, искренне хочу стать французом! И точно так же русский - никогда не перестанет быть русским! Это Азия - Восток! Вы еще с ними хлебнете. А если "Национальное бюро" усилит контроль за укрывателями?! Снизьте им на пару пунктов индекс и проводите их всех до самолета. И голова не будет болеть! Неужели же мне нужно вас учить. А о судьбе парочки дорогих вам людей мы сможем поговорить особо!

"Еёё, - протянул мысленно Фишер, - ёёё!"

- Да, - повторил он вслух по-русски. - Я согласен, милейший! Давайте сначала устроим смотр тем, о ком мы будем говорить особо.

Глава восемнадцатая. УКАЗ 512.

москедни миксйерве с ацил еигурд и ялиарзИ енаджарГ..."

,17 ежин

,вещубик хиксйеваккам иманелч ясеищюялвя ен ,аремон огонтимил еищюеми ен

-зИ юиротиррет ьтуникоп икорс сыннашипдерп в ынжлод

."ялиар

Глава девятнадцатая. КАНДИДАТЫ.

Учебный день кончился, но - невиданное дело - из ешивы никто не ушел! А ведь никому не было сказано ни единого слова. Так велико было напряжение в воздухе, что никто не переглянулся, никто не спрятал улыбки! Как будто бы каждый день кто-то из постигших спускался вниз в рабочий цех! Правда, руководитель ешивы рав Фишер, открывая ежегодно эту мастерскую,

говорил коротенькую речь о том, что означает для всего нееврейского мира их работа, но чтобы сам Шкловец сел за общий верстак - такого никто из исполняющих припомнить не мог. Но вот он уселся, подлил себе в стаканчик кошерного синтетического клея и наметил первую стенку.

Сверху слышны были знакомые грузные шаги Фишера и все исполняющие сидели с насупленными и притихшими лицами. Особенного заработка сегодня быть не могло, хотя платил за эти коробочки для тфиллинов рав Фишер в принципе неплохо:

за маленькие платили по двадцать восемь агурот, а за большие, восемь на восемь, на лоб, платили даже больше. Не напрягаясь, исполняющий мог сделать штук по десять в час, а некоторые михайловцы, поспоровистее, клеили и все двадцать. Если, конечно, обед был не слишком тяжелым и не начинало клонить ко сну. Сегодня на обед был суп с клецками и индюшатина с овощным гарниром, а на третье дали по хорошей груше, но настроение у исполняющих было тревожным, и никто из них не наелся. И Шкловец позвонил и велел приготовить всем чай. Раньше, в более либеральные времена, по вечерам тоже давали чай, но рав Фишер привез с собой из Америки нового машингаха по имени Пинхас Вульф, и обстановка в ешиве сразу стала строже. "Кончать разговоры! Занятия!" - раздавался в коридоре визгливый голос, от которого стыла кровь.

Вульф был человек поразительной учености! Впечатление от нового машингаха усугублялось еще тем, что у постигшего Вульфа кожа была какого-то лимонного оттенка и зубы немного выдавались вперед, так что перед ним робела даже Михайловская молодежь. А ей и черт был не брат, и поднести кому-нибудь в морду они были большие мастера. Михайловцы отдавали своих парней в ешиву, чтобы их немного обуздать перед армией. Вообще мало кто из ковенцев, как говорится, шел "по военной тропе". Зато Пашка Бельдман - ох как любил щегольнуть гранатой или парой вороненых обойм в карманах армейских брюк!

"Вот кто бы пригодился "Русскому Конгрессу"! - рассуждал про себя Шкловец. - Ведь если в России сейчас начнется, то Пашке будет где развернуться! А тут не его масштаб!"

После "Указа 512" крайне правый Пашка выглядел в Израиле диковато, как динозавр. Дай ему волю... да загляните сами в себя поглубже, и вы поймете, что будет, если дать Пашке волю! Сам Шкловец был совершенно иным. Он любил полежать на диване с кроссвордом, он любил Блока, он мог сделать домашнюю халву в десять раз лучше покупной! Даже обращение Шкловца в иудаизм было чудесным. Случилось так, что молодой Шкловец, тогда еще просто Миша, упал в бухарской республике с минарета! Уже сегодня постигший Шкловец мог бы легко объяснить вам, что падение с мечети - это далеко не полет с колокольни! А раз ковенские мудрецы пишут, что в мечетях в случае опасности можно прятаться и молиться, то тем более с них можно было и падать! Но для Шкловца это падение оказалось поистине фатальным. Никто не помнит, сохранилась ли та мечеть, давно за бесценок продан Миллеру голубой многотомник Блока, а сам Миша Шкловец оценен

AD VALOREM. И надо же теперь, такая напасть!

Скорее бы наверху все решали. Да - да, а нет - нет! Но после всех усилий, которые он угробил на этот духовный центр, он никуда отсюда не уедет! Вы слышите, никуда! Ведь добрую половину людей в этой мастерской обрезал он! Конечно, были ошибки, были! - думал Шкловец. Может быть, сумасшедшего стоматолога из Тель-Авива обрезали зря. (А Шкловец по совместительству занимался в ешиве не самым обрезанием, а "шидухом" - уговариванием, или, скажем, сводничеством на обрезание.) И стоматолога удалось уговорить именно Шкловцу, и всего минут за пятнадцать! Люди сидели и выпивали в старой ешиве под лестницей, и Шкловец проорал вместо приветствия свое обычное "Откуда евреи?!" и "Являются ли евреи обрезанными?!" Однорукий Минкин промолчал и ничего не ответил: он любил хвастаться, что на зоне ему вшили в член три минеральных шара, и Минкин боялся во время операции их лишиться. А пьяный стоматолог, громко расхохотавшись, ответил: "Конечно, нет!", и его в таком не вполне протрезвевшем виде отвели к доктору Латкису, который практиковал напротив ешивы, быстренько собрали миньян и так стремительно обрезали, что стоматолог слез с обрезального стола, дико вытаращил глаза, оглядел всех присутствующих и обалдело перекрестился!

Было! Чего там говорить. Ответственный за обрезание Шкловец был просто в шоке. Но дело это минувшее, а сейчас его "крестники", все эти добрые люди, не представляют себе, что творится наверху, но ведь никто не ушел! Друзья сидят плечом к плечу и клеят коробочки для тфиллинов! И если сегодня все обойдется, если этот маклак Фишер не продаст его в царство тьмы, чтоб ему прожить до ста двадцати лет, не про нас будет сказано, то хотя бы раз в неделю, не реже, он, Шкловец, тоже будет спускаться вниз в мастерскую и делать эту работу ЛЕ ШЕМ ШАМАИМ наравне со всеми исполняющими. Шкловец смиренно приподнялся с табуреточки и приготовил себе картон еще на один час работы. "Гезунтер ид!" - произнес, не глядя на него, пожилой михайловец в камзоле, который сидел с большими ножницами в углу и нарезал болотные листы картона.

А наверху дела обстояли нехорошо. Просто скверно. Уже пятнадцать михайловцев в словесных портретах представлены были пред светлые очи гостя. Уже выкопано откуда-то было несколько очаровательных русских жен, но в руководители местного отделения "Русского Конгресса" пока не подошел никто. Григорий Сильвестрович пока только недоуменно пожимал плечами и морщился.

- Не хотите ли услышать о загадочной судьбе... - сладким голосом спрашивал рав Фишер.

- Нет, - коротко отвечал гость, не давая раввину даже кончить, - загадочных не хотим! Загадочных всех на родину!

- А вот есть проверенный человек, нищий-философ, адепт трех религиозных дорог! Очень большой романтик.

- Романтиков тоже не треба! - проговорил Григорий Сильвестрович, внимательно глядя в глаза лукавому раввину.

Скорее всего, Фишер имел в виду Габриэлова, который к этому моменту был уже предательски убит. Правда, рав Фишер знать об этом еще никаким образом не мог. Кроме того, Габриэлов даже в глазах самых ортодоксальных ковенцев все-таки не был русским, то есть Фишер все-таки тянул время и хитрил. "Какие-то у нас с вами рыночные отношения!" - бормотал рав Фишер, доставая из картотек данные очередной жертвы. "Вы мне главный калибр показывайте! - в таком же тоне отвечал ему гость. - Мне ни бабья, ни этих колхозничков не нужно! Вы их поскорее в "Национальное бюро" сдавайте. Для своей же пользы! А мне вы дайте современного руководителя, и желательно не Бельдмана!"

- Чем вам Бельдман-то не угодил?! - обиженно встрепенулся Фишер.

- Да сами знаете! Дрянь-человек. Ненадежен, тщеславен и нагл. Настоящий гой, в худшем смысле слова! Вы бы для меня что-нибудь получше подыскали...

Что за невезучий человек был этот Пашка Бельдман! Уж, казалось бы, кто больше, чем Пашка, ненавидит всех современных гоев! (И гоек.) До сих пор не мог он спокойно смотреть в их блеклые балтийские глаза! Видно, крепко насолили они молодому рижскому журналисту! Видел бы сейчас кто-нибудь из редакции комсомольско-молодежной газеты "Циня", как устало входит их собкор Пашка в здание ковенской ешивы! Как уверенно держит он на сутулых плечах М-29, тяжелую американскую винтовку. Холодно становилось в животе у миролюбивого начальника ешивы от этих зловещих Пашкиных визитов. И вот впервые у него забрезжила надежда отделаться от этого кошмара, но Григорий Сильвестрович о Бельдмане даже не захотел слушать. И тогда подошла очередь постигшего Шкловца.

- Леавдиль, леавдиль элэф авдолот! - приговаривал про себя рав Барух Фишер. Ой, как неловко было ему уступать одного из лучших, из самых преданных людей этому необрезанному филистимлянину. Но не за себя, не за деньги - за ешиву страдала его душа. Чтобы не прослыла его ешива - "ешивой укрывателей"! Все равно этот шпион не даст теперь жить спокойно!

"Шкловец, надеюсь, хорош?" - прошептал он.

- Пасквилянт? Пасквилянт первый сорт! Просто чудный. Но, к сожалению, на него у меня есть другие виды.

И рав Фишер снова стал шептать себе что-то под нос и ритмично раскачиваться. Наконец он ущипнул себя за полную щеку, больно хлопнул ладонью по могучей ляжке и, как рыжий Исав, подпер волосатыми руками свой дородный ковенский живот. Будь сейчас рядом с ним жена Фишера раввинша Малка, она не задумываясь бы сообщила: "Мой Борька наверняка что-то придумал!"

- Подходящий человек, милейший, все-таки есть! - неуверенно воскликнул раввин. - Его зовут профессор Мизрахи. Да, да, я понимаю ваше недоумение и ваш вопрос - в прошлой жизни его звали профессор Иван Тараскин! - И еще обещал туманно: - Если господин профессор согласится уделить нам частицу своего времени, через одну неделю он будет вам представлен!

Глава двадцатая. ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ?

Была пятница. Йом-шиши. Только что прогудела пронзительная сирена. "Зорю бьют... из рук моих ветхий Данте выпадает". Иерусалим ушел на покой жрать кошерную курицу. Эти "йом-шиши" для меня - постоянная пытка. По пятницам я чувствую себя пришельцем в этом городе, голодным подкидышем! Между мною и миром неколебимо стоит стена. И эта стена насквозь пропахла курятиной. Куриная нога - вот что могло спасти меня от гибели! Можете не греть. Меня, как Робинзона, выбросило в страну волосатых дикарей. Своего Пятницу я назову "Йом-шиши"! Вот уже пятую неделю подряд я не выходил на встречу с "братом" Арьевым. Я вытянул из него сотню новых шекелей и теперь понимал, что пропал. С того момента, как я услышал о назначении Ивана Тараскина, я начал ко всем событиям в городе относиться лично.

"Если он, конечно, сволочь, протрезвеет, а иначе - фиг под нос и пара папирос!" - вот что хотел добавить, но сдержался рав Фишер. Нет, не в последнюю секунду трехчасового спора пришла Фишеру на ум эта спасительная фамилия! Крепко должен был задуматься ловкий раввин, прежде чем выбросить на невольничий рынок исторический курьез, вдребезги пропившегося бенгальца! Деньги сами шли в руки, но товар был с гнильцой! Вот уже несколько лет голова профессора Мизрахи, будущего "председателя иерусалимской ложи", была обмотана от пьяной мигрени полотенцем, украденным в арабской гостинице.

Шел март. На станции метро "Гостинный двор" сейчас торгуют мимозой с мелкими пушистыми шариками. Стоял и не ломался удушливый сатанинский хамсин. Но не голод, не жаркий ветер из аравийской пустыни разрывали на части мой мозг. Стальные обручи сковывали мне виски, и в мозжечок был вбит длинный танталовый гвоздь. Наступил момент, когда я ощутил, что я не отстаю от происходящих вокруг событий. А значит, нужно было успокоиться, сесть с сигаретой в кресло и постараться понять, что же все происходящее означает. Да! Тут пахло не просто литературной игрой! Нобелевский конкурс с насильственной припиской к разным молельным домам стал для меня прообразом будущих израильских фаланстер. Вроде маккавейского города Кирьят-Малахи, где в глухих ковенских казармах рав Фишер уже несколько месяцев прятал от людей профессора Ивана Тараскина. Решение Фишера не давало мне покоя. Фишер никогда не ошибался - это был дипломат с невероятным чутьем. Как же он не боялся немедленной мести старца Андрея Дормидонтовича Ножницына? Убей меня, но ничем на свете спившийся профессор руководить уже не мог! Приезжего Барского нужно было держать от себя на пушечный выстрел. В струях табачного дыма мне мерещился толстый лысый преступник, делинквентный тип доктора Ламброзо. Чем больше я думал, тем меньше я доверял этому человеку. Смешно было верить, что старец Ножницын, это целомудренное сердце, приказывает варить своих противников в кипятке! Скорее всего, старец имел к "Конгрессу" только косвенное отношение, может быть,

действительно помогал им деньгами и был втянут в какой-то чудовищный блеф. То есть старец был жертвой! Я напрягал память, но из стихотворений "армяшки" Менделевича не мог вспомнить ни одной целой строчки. Черт с ним, с Менделевичем! И кому могла понадобиться эта горстка безумных русских крестьян в меховых камзолах?! Зачем отвозить их обратно в Куйбышев? Гениальный старец не мог участвовать в этой чуши. Наверное, ему было доложено, что тут томятся в неволе тысячи и тысячи, а не полсотни жидовствующих колхозников и верных баб в париках!

Нет, этот Григорий Барски вел какую-то двойную игру. Я не верил, что идея издания международной газеты на трех языках может идти от старца. И здесь рука этого честолюбивого толстого интригана! Фамилия была знаменитой. Знал я одного Барского, но и в самых страшных снах этот посланник старца не мог быть моим знакомым. Да и мало ли на свете Барских? И я давно уже не Робин Гуд, чтобы разыскивать доброго старика на его даче в Висконсине и открывать ему глаза на правду. Пусть всех везут в Куйбышев, пусть вывозят из Куйбышева - мне было все равно!

Справедливости на свете существовать не могло. Интересно, что могло лежать в портфеле, который спер Габриэлов?! Я чувствовал, что толстый человек убивает всех сам. Заманивает их на стройки и сворачивает там головы. Или делает это вместе с "маккавеями". Барски мог связаться с ними через того же Пашку! Вряд ли старец даже догадывается. Почтенный старик строчит себе в Висконсине свои прекрасные книги, но он давно уже мог рехнуться от старости и нести сенильный бред. Или быть одержимым квазимессианской идеей - самому спасти этот мир. И прежде всего нужно было расселить все народы по своим местам! Решение напрашивалось само! И начинать следовало с русских, армян и евреев.

А может быть, старец кому-нибудь мстит или просто обиделся - все-таки он был человеком во плоти, как я, а у людей самые высокие идеи не могут ни на что не опираться и парить в воздухе. В моей таблице Менделеева зияла белая клетка: может быть, старца обидела какая-нибудь женщина, еврейка. Я бы не очень удивился. И теперь старец хочет выселить всех евреев из России, чтобы как-нибудь выкурить ее из коммунальной квартиры на Фонтанке! Ему мерещится по ночам, как она в валенках бредет к границе в Брест-Литовске и, нераскаянная, курит на чемоданах. А борьба за Нобелевского лауреата - это царская прихоть и сведение личных счетов с тунеядцем Иосифом Б. Старца откровенно бесило, что Иосиф Б. до сих пор пишет по-русски, и чтобы тот не зарывался, старец демонстративно выдвигает на "нобелевку" не православного, не какого-нибудь Чаадаева, а настоящего, пейсатого, галахического еврея! Но своего еврея, рукотворного еврея - турецкого барда, безо всяких пушкинских домов и петербургской спеси.

Догадки, догадки. Но все неубедительно. Неплохо про еврейку на чемодане, но тоже неубедительно. Нет в жизни ничего отвратительнее курения на пустой желудок. Я походил по квартире и снова вернулся в кресло. Этого толстого деятеля следовало изо всех сил избегать. На кой черт ему сдалась эта газета? Хоть, в общем, выдумка была неплохой:

оригинальная русская газета на английском языке. Абсолютная тотальная дезинформация американцев! И нобелевский карнавал должен пройти на "ура". И если в ход пошел бедняга Тараскин, то рано или поздно этот толстый бандит доберется и до меня. А лавров тут никаких стяжать нельзя - используют и пустят в расход. А значит, прав был Аркадий Ионович, и отсюда следовало давать деру.

Действительно, прошло еще дней десять, и как-то вечером, когда я уже приготовился ко сну, в дверь ко мне постучали. Я рванул к выключателю, но, увы, было уже поздно.

- К вам гости! - просунув в дверь голову, сказала мне соседка.

Глава двадцать первая. ПРИ ДВЕРЯХ.

Сейчас считается хорошим тоном писать про себя самые что ни на есть откровенные вещи. Конечно, писать их иногда стыдновато, но я и сам к этому тяготею.

Самым популярным в мире жанром становится многосерийный автобиографический репортаж. Он называется ультрасовременной прозой. Это мой идеал! На волю, наголо, на свет и наружу! Наизнанку, навыворот, настезь самые потаенные каморки моего подсознания! Ключи на стол, Синяя Борода! От прозы не должно отдавать Полинькой Сакс и Иваном Тургеневым! Нам есть чего сказать и греку, и варягу! А то надежный лагерный жанр на глазах начинает хиреть. Для спасения литературы грядущим поколениям придется создавать специализированные гомосексуальные лагеря! Как дома творчества в Комарове.

Я завидую читателям будущего острой читательской завистью. Роман о любви майора Полищука к простому зеку станет новым "Ромео и Джульеттой"!

И все-таки нужно признать, что пронзительная откровенность не обязательно должна нести затаенные гомосексуальные надежды. Не всех, нет, не всех еще писателей эта тема взяла за хриплое концептуальное горло! И в какой-то момент от мужчин начинаешь просто по-человечески уставать! Даже в трущобах среди деклассированного ворья, даже в духовных центрах твоего города, Давид, где пахнет технической интеллигенцией, пахнет прикладными математиками из Москвы и дезодорантом "Дипломат", где в праздники кружатся мужские хороводы, а толстых подруг обривают специальные ковенские цирюльники, даже в самой добросовестной городской хронике наступает критический момент, когда уже невозможно написать и полуглавку текста без главной героини женского пола. Или хотя бы намек, что до косвенного упоминания о ней остался один шаг, что вот-вот, при дверях, что след ее уже мелькал на твоих дорогах. Да где ж ее сыщешь?

Потому что счастлив писатель, которому хватает своего таланта, который не нуждается для баланса в задумчивом девичьем голосе, который может перед

сном равнодушно помолиться, заснуть и спокойно ждать завтрашнего дня с его декалоризированным хлебом фирмы "Ангел и сыновья". Аминь!

А для меня до сих пор загадка - почему именно я, сентиментальный реалист, избран для создания мужских хроник. Да еще в таком исторически скользком месте. Здесь нужен специальный талант - создавать миражи в пустыне! А я здесь по ошибке. Я хотел во Флоренцию. Я болел! Выдуманная героиня из слоновой кости не в состоянии согреть мой текст. Да и кому это под силу?! Даже признанный гений граф Толстой, и тот для достоверности лепил Наташу Ростову из двух своих собственных тетей.

Писательские дневники лежат бесполезным грузом. Прошрое мое - смятый лист, я смотрю на него чужими глазами. Открываешь страницы наугад: "...кофе осталось на одну чашку. У женщины, с которой я живу, болит голова, и я решаю оставить эту чашку ей. От головы можно заваривать лавровый лист и мяту. Простой рецепт: чайная ложка заваривается на литр..." Я прекрасно помню этот рецепт. Я даже, кажется, помню этот литр, но имя той, которой, единственной, мне не вспомнить.

Или вот еще: "...рассказы о гинекологах - сплошное преувеличение. Обычный контакт с пациентками безобиден. Я испытал возбуждение лишь единственный раз в своей практике - при осмотре сорокавосемилетней учительницы из Кронштадта с эластичной кистой справа. Киста подвижная, величиной с детскую головку, во время операции легко вывелась в рану. Даже желание при абортах коснуться губами операционного поля появляется чрезвычайно редко, может быть потому, что оно обильно обработано йодом..." Я не помню человека, который своей рукой выводил эту лирику! Что за полное перерождение в течение одной жизни может испытать человек! Мне невыносимо думать теперь о кюретках, вульвэктомиях и влагиалищных экстирпациях матки по Елкину. От одного вида скальпеля меня мутит. Прочь, прочь, прочь от дурного реализма!

И только героиня, которая грядет. Томительное предчувствие своей женщины. Позывные грядущего. Затуманенный взгляд и круглые татарские глаза, прохладные бедра. Веснушчатая грудь и голос, у которого нет дна. Эта женщина рядом, так близко, что кажется - завтра, я уже протягиваю ей руку и нетерпеливо оглядываюсь. К чертовой матери и мужскую прозу, и строгий кашрут, и всех религиозных подвижников - ни одним звуком их духовный подвиг не отзывается в моем очерстевшем сердце. Только ты, я помню твои шаги, я знаю, что ты придешь, я помню твой запах, твои пальцы. Только ты даешь мне силы побороть писательскую лень и приняться за следующие страницы иерусалимских хроник.

Глава двадцать вторая. БУФЕТЧИЦА ДРОНОВА.

- Где-то я вас видел, кажется, в Курске. Вы бывали в Курске? Кто же не был в Курске. Надо стихи плотнее загонять в прозу. Но получается

кособоко. Шла баба с тестом, упала мягким местом. "Мягким местом!" - пронеслась мысль.

- К вам гости, - сказала мне соседка, и у меня засосало в груди, замутило от нехорошего предчувствия. "Лучше умереть стоя", - пронеслась малодушная мысль, и холодное солнце зажглось у меня в груди размером в полгоризонта. Этого человека я, ой, знал. Прошное выползло из-за соседкиной спины и грузно материализовалось на моем пороге в виде прусского солдата - я поискал глазами косичку. На глаз он весил чуть больше центнера и начал носить круглые очки. Впрочем, он и раньше едва заметно косил. И на щеке появился длинный багровый шрам. Это был именно тот Барский, которого я знал. Двадцать лет назад его называли "беглым жандармом", ошибиться было невозможно.

- Я к вам по делу, - слышал я совершенно издалека.

Я закрыл глаза и прислушался, все-таки он был совсем из другой жизни, потом снова открыл глаза, и передо мной стоял Гришка. Я довольно часто встречал его в одной квартире на канале Грибоедова, где, наверное, никого уже не осталось, кроме старенького дедушки-железнодорожника, на которого была записана дача в Лисьем Носу. Я, действительно, если не хорошо знал, то много раз его видел, и то, что Гришка-жандарм стал политическим деятелем, было для меня все-таки полнейшим конфузом. Рожа, правда, стала интеллигентнее, и он был уже не просто толстым, а произошел переход количества в качество - вся масса жира как-то застыла и перешла в спокойную величавость.

Не удивительно, что рав Фишер был пленен этим человеком: Гришка Барский прошел хорошую школу!

Надо сказать, что люди, которые обитали в той квартире на канале, были все поголовно борцы за права человека, даже больше. И эту душевную предрасположенность к обязательной борьбе за права я до сих пор ощущаю как некий генетический дефект. День и ночь там перепечатывался самиздат. Абсолютно в высшем идейном смысле, самиздат в смысле самиздата, никто не брал за него ни копеечки, даже за бумагу, которую выносили из лесотехнической академии. Солженицын плодился там, как после грибного дождя, как перед войной; какие-то девушки с лягушачьими ртами переписывали от руки прокламации, миллион прокламаций от руки, речи каких-то политических козлов, то есть фокус был в том, чтобы чего-нибудь непременно переписать и ничего не оставить непереписанным! Особенно, если это касалось сионизма и этих туманных человеческих прав. И вот посреди всего этого генетического кошмара и высших идей, посреди старичка-железнодорожника, который пил на кухне краснодарский чай, нашелся человек, который всему, видимо, абсолютно сочувствовал, но ни в чем этом не принимал участия, потому что у него не доходили руки. Он не боролся за права человека - он их воплощал, ценности, которым он служил, были непреходящи! Иными словами, он каждый день приводил туда каких-то новых шлюх. То есть абсолютно натуральных шлюх, PER SE. Он ухитрялся находить своих дам в кругах социально неблизких, даже далеких.

Один раз он привел туда буфетчицу Дронову, как он ее нам представил, и через две минуты, дико озираясь, отправился с нею в ванную. "Это вернейший трепак!" - сказал вслух кто-то из сионистов. У ней следы проказы на губах, у ней татуированные знаки! После каждого такого полового акта с буфетчицами он выпивал по три с половиной литра молока и говорил: "Трепак был, но я его сбил молоком!" Там был просто рой триппера, половина его возлюбленных состояла где-нибудь на учете! И вдруг такая разительная перемена: напротив меня сидел политический деятель в изгнании доктор Барски! Представитель "Русского Конгресса". Время - лучший лекарь!

В сеточке у Григория Сильвестровича поблескивало две бутылки голдовой водки с золотой головкой, какие-то продуктовые свертки и недавно вышедший в свет лиловый томик Менделевича.

- Ага, вот, значит, как мы живем! - хрипел он, протискиваясь ко мне в дверь. - Дворец! Чукча в чуме ждет рассвета! Ну, будем знакомиться, где-то я тебя, парень, видел! Грэгори Барски. Можно к тебе?

Сейчас, когда я вспоминаю этот первый визит Григория Сильвестровича, мне кажется, что он спокойно мог принять меня за сумасшедшего.

- Григорий... как ваше отчество... садитесь, может быть, чая фруктового, - суеился я. Как незаметно прошли годы! Ко мне, представьте себе, является собственной персоной "жандарм", принимает за кого-то другого и еще позволяет тебя разглядывать. Усики были все те же, и тот же хрип, те же щеки призового бульдога! Но при этом видно было, что последние двадцать лет не прошли для него даром: передо мною стоит расплывшийся краснорожий фельдфебель, но вполне цивилизованный и обтесавшийся. "Привет тебе, золотая чаша, подруга бдений и пиров". Я вспомнил несколько литературных девиц, которые его патронировали, и мысленно их поздравил.

- Вы меня в свою организацию вербовать пришли? - спросил я очень осторожно. Барски посмотрел на меня оторопело и постучал рукою по лбу.

- Меня бы самого кто завербовал, - проворчал он. - Я пришел предложить тебе мелкую работенку. Жрать у тебя нечего?

Я показал ему на кухонный стол.

- Борис Федорович лопатку приволок, с утра лежит. Может, не испортилась.

- Какой ты все-таки дрянью питаешься! Ну, дай понюхаю, - озабоченно сказал он, - кушать хочется, прямо мочи нет. Я и сам сейчас в опале. Давай я тебе щей сварю. Капусты нигде не завалилось? Я тоже тут кое-чего подкупил. Давай только сначала по малюсенькой.

Первую рюмку он выпил один и огляделся по сторонам. Я проследил за его взглядом. Обстановка в квартире вдруг показалась мне омерзительной.

- Ты хочешь участвовать в концептуальном вивристическом сеансе? - поинтересовался мой гость.

- Нет! - решительно ответил я.

- А ты знаешь, что это такое, в чем ты не хочешь участвовать? "Нет, нет", затвердил, как сорока. Сходи-ка к соседке, лука принеси четыре головки и

еще чего-нибудь, чего даст, - неожиданно очень плаксивым голосом попросил он. - Можешь ей денег предложить, вот возьми три шекеля.

- Да не возьмет она, и поздно уже, - сказал я.

- И черт с ней, пусть не берет. У самого денег нет. Что же так голова трещит?! С перепоею или климат такой? Да, пару картошечек еще прихвати!

Когда я вернулся, он ходил по квартире с книжкой Менделевича в руках и чего-то декламировал. Обе бутылки стояли на столе откупоренные, и в квартире стало менее напряженно.

"Допустите ль разворошить ваш белопенный корсаж, груди фарфора с розовыми сосцами разъять... Хорошо, сволочь, пишет", - одобрительно приговаривал Григорий Сильвестрович. - Интересно, как это кушает мой друг Борис Нахумович! Они там, насколько я понимаю, никаких "сосцов" не признают.

Григорий Сильвестрович с удовольствием повозился на кухне, потом мы вместе выпили, перекусили, но разговор не очень клеился.

- Ты знаешь, кто я? - буркнул он наконец. - Я художник будущего!

Политика это так, побочно, - важно объяснил он. - Ты любишь искусство?

Я не очень уверенно пожал плечами. Я не любил искусство.

- Завтра в иерусалимском театре "Паргод" состоится вивристический сеанс, - сказал Григорий Сильвестрович. - Явка строго обязательна. Ты ведь тоже концептуалист, только сам об этом не подозреваешь. Каждый писатель - концептуалист, если он, конечно, не полный идиот и не лирический поэт. Ну, кажется, мне стало полегче! Скука дикая, ебаться совершенно не с кем. У тебя нет какой-нибудь солдаточки знакомой? Только чтоб не прыщавая. Я заметил, что у здешних девчонок плохая кожа, а я на этот счет очень чувствительный. Нет? Ну на нет и суда нет.

- Посидите еще, - предложил я ему, но он неторопливо обулся, надел на широкие плечи коричневый двубортный пиджак и отрицательно покачал головой.

"Все - суета! - вздохнул он. - Я к тебе еще зайду".

- Зря ты в сеансе отказался участвовать, - крикнул он уже с лестницы.

Глава двадцать третья. СНИМИТЕ ПЛАВКИ.

"Перед вами феномен!! - прокричал со сцены Второй председатель евросекции художников Александр Окунь. - Это - феномен боди-арта! Захоронен дважды в крематории Донского монастыря! Любимец римского папы! Этот русский гигант теряет за сеанс двадцать два с половиной килограмма - и это двадцать два килограмма чистого искусства!!" Далее Окунь начал рассказывать о себе, и его слушали неплохо. Я давно не видел иерусалимское общество в сборе и с любопытством его разглядывал. В первом ряду были члены правительства и русские министры. Были одни либералы, ни одного маккавея. Во втором восседала Маргарита Семеновна из

издательства "Нация", Галя и Фира из Сохнута, несколько Фантиков с "Национального радио", Азбели-Воронели и еще дюжина иерусалимских бар. Любимов сидел с Любошицами, и все очень благосклонно поглядывали на сцену. Дальше, с третьего ряда, все выглядело уже не так отвратительно, народ был попроще, и шла довольно вялая светская болтовня: "...вы слышали, Ирка укусила Мехлиса за хер? говорит, а что бы вы сделали на ее месте? если бы вы сами были с жуткой похмельюги, а тут...", и в таком роде. Столики обслуживала пара филиппинцев, выдающих себя за столичных китайцев. Они таскали железные чашечки с бараньими костями и фисташки. И на каждом блюде был голубок и маккавейский знак из редиски. За моей спиной сидели самолетчики с третьего процесса, и я из осторожности решил вообще ничего не заказывать. На сцене под фотовспышки натягивали огромный холст. Вообще разрекламирован вечер был потрясающе - народу было множество, а главное, бегали корреспонденты из "Национальных новостей", "Национальной культуры" и "Еврейской Евы". Все - индекс двести. Григорий Сильвестрович вышел в малиновых плавках и боксерском бандаже от возбуждения и несколько раз поклонился первому ряду. Выражение лица у него было хитрющим. Кроме всего, от пяток и до макушек он был выкрашен ядовитой синей краской. И лысина, и веки - все, только плавки и жуткая полоска губ еще оставались малиновыми. "День зачатия я помню неточно!" - выкрикнул доктор Барски. Зал зааплодировал. Пока грунтовали холст, показывали кинофильм, где Григорий Сильвестрович выступает в плавках и без и оттискивает на холстах голых поэтесс из "Русской мысли". Фильм делала женщина-вамп из Москвы, которая окончила ВГИК и была замужем за пожилым банкиром. В кино Григорий Сильвестрович очень много играл лицом, но по-настоящему рассмотреть его было невозможно, потому что он был очень измазан. Последняя женщина с опущенными ягодицами, которую он оттискивал, была тоже концептуальной поэтессой, и министрам очень понравилось, как он с ней работает. Вообще партийцы из первого ряда были довольно неискушенными, половина много сидела в лагерях, и настроение было праздничным. Потому что было ясно, что их тоже приобщают к искусству. Пока шел фильм, Григорий Сильвестрович давал короткие солдатские приказания своим панкам-ассистентам, золотому и оранжевому. Ассистенты были разбитными и подозрительными. Оба работали парикмахерами в "Салоне Сарни" и стояли на учете в "Министерстве национального секса". Наконец, все было готово, реостатом запилили свет, и в лучах прожектора снова вышел огромный фосфоресцирующий Григорий Сильвестрович, а за ним выпорхнули эти два отрока из пылающей огненной печи. Григорий Сильвестрович взял в руки черный эбонитовый микрофон и сказал по-французски: "Народ Израиля! Этот вечер я посвящаю тебе!" После этого ему подали огромную швабру, и Григорий Сильвестрович повернулся к залу жирной необъятной спиной и придвинул к себе ногой лохань с краской. Репортеры безостановочно снимали зал, и часть зрителей на всякий случай старательно отворачивалась. Доктор Барски приказал выложить на сцене главный холст и пригласил

желающих к нему подняться, но, несмотря на приглашение, на арену никто не вышел. Григорий Сильвестрович отнесся к этому совершенно спокойно. Он начал выдавливать тюбики краски на своих парикмахеров и с оскаленным лицом по очереди оттискивал их на холсте. Было очень много разной символики, которую я понимал не до конца, но, в общем, получалось неплохо. Если в кинофильме о себе Григорий Сильвестрович имитировал половые акты других поколений, особенно когда он ложился на поэтессу из "Русской мысли" сзади и прижимался ультрамариновыми щеками к разным ее частям, то в настоящей жизни происходила настоящая мужицкая возня, даже с пыхтением. Григорий Сильвестрович ходил по телам как бригадный генерал! Как шеф-повар каннибальских батальонов! Один из парикмахеров был очень болезненного вида по фамилии Балабриков. Григорий Сильвестрович выдавил им на отдельном холсте композицию "Смерть матроса".

- Плавки снимите! - проорал ему из-за столика самолетчик Камянов.

"Да уж больно вы, дяденька, бойкий, боюсь оторвете!" - как бы раздумывая, ответил ему Григорий Сильвестрович. Но это он преувеличивал, и вообще вся публика вела себя довольно смирно, так что в перерыве я не выдержал и решил уйти. Последнее, что я успел заметить: публика из последних рядов подрисовывала силуэтам глаза, а грустный толстый клоун сидя отдыхал на подмостках и курил папиросы "Галуаз", дым от них подымался синими колечками над членами Кнессета из первого ряда, над русским лобби, которое побаивалось маккавеев, над матросом Балабриковым и, наконец, над самим обнаженным маэстро. Я принял его сначала за политического спекулянта, а он оказался опасным, но не тем. И все были не тем. Половина была гениальными детьми и пускала дым от папирос "Галуаз" синими колечками. Кто в плавках, а кто хотел повыпендриваться и без. И вся жизнь тоже была концептуальным визуансом. Оставалось только потрогать чужие рисунки пальцем. И подумать, кого из великих людей ты успел застать на Земле. В лифте или в бане. Да кто теперь ходит в баню, кроме парочки психопатов и голодных философов. Что же так тихо на Земле, Господи, что же так. И до чего все опротивело.

Глава двадцать четвертая. ПОСЛЕ СЕАНСА.

- Кто там?!
 - Сто грамм.
 - Ах, это вы!
 - Ну как тебе сеанс?
 - Никак мне сеанс, - сказал я устало, - мне в страшном сне приснится.
 - Все говорят, что провал. Старик уже звонил из Америки - запретил все дальнейшие выступления!
 - Ну и правильно.
- Григорий Сильвестрович надулся, но промолчал. Если какой-нибудь

человек обиделся, то ему нужно сказать: "Ах, ты обиделся? Поезжай кое-куда, там увидимся!" Обычно это мало помогает. Что за обидчивый народ художники и литераторы! Напишут какую-нибудь дрянь, так мало того, что это нужно выслушивать два часа, так потом ты еще должен отвечать на вопрос: "Ну, как?" Я всегда честно говорю, что говно. Но иногда все-таки говорю, что мне понравилось, но одно место меня держит. Почему-то это всех устраивает. Почему-то всем понятно, что меня именно это место должно держать. Или я говорю, что мало читаю и у меня не развит художественный вкус. Я действительно поразительно мало прочитал книг.

- Слушай, я для чего к тебе пришел, ты не мог бы для нас в Румынию скататься? Особенно не разбогатеешь, но дорогу тебе оплатят.

Я посмотрел на него с изумлением. Люди моей культуры вообще друг на друга много смотрят. Это определенный эрзац секса. Если из советских фильмов вырезать куски, когда герои со значением смотрят, то останется на небольшой киножурнал "Новости дня". Но все-таки предложение было слишком неожиданным и, так сказать, не соответствовало степени знакомства.

- Что же нужно делать в Румынии? У меня даже костюма нет.

- Костюм ты купишь на месте. Возьми с собой что-нибудь из барахла и продай. И купишь себе пять костюмов. Бабы в гостиницах все скупают. Кофе возьми. Чулки капроновые очень хорошо идут.

- Какие еще чулки? По-моему, вы бредите. Хотите аминазина?

- Ну у тебя же все равно своих денег на жизнь нет. А я тебе смогу дать впритык, у меня все подотчетное.

- Да не еду я еще никуда!

- Тоже верно! - сказал Григорий Сильвестрович и почесал себе шею. - Давай-ка лучше выпьем. Я тебе потом все расскажу, попозже.

Григорий Сильвестрович выпил и в двух словах объяснил мне мою задачу. Необходимо было довести до Румынии первую группу русских людей, возвращающихся на родину. Оплата за работу будет сдельной.

- Как воздух нужны родословные этих "риторнантов". Старик использует их в своих "Красных судьбах"! Вот здесь мы с тобой и поработаем. Ну что ты заладил - "высылают", "высылают"! Пока ты со мной, тебя никто не вышлет. У тебя типографии нет надежной? (Я вспомнил Сеньку Чертока.) Знаешь, сколько старец за каждого михайловца платит? Будет время - узнаешь!

- За что вы его все так не любите? - с недоумением спросил я.

- А за что его любить? Отвратительный злобный старикашка, людей в грош не ставит. По секрету тебе скажу - хочет стать самодержцем.

- Не верю!

- А вот этому ты поверишь? - Григорий Сильвестрович вытащил откуда-то из папки уголок приказа - "по имперской канцелярии" - резанула меня тисненая надпись. Хоть он по-своему забавный. На старости лет решил завести себе две деревни. Чтоб были девки - просто венки плели. Где их прикажете взять! Посреди Америки!

- А михайловцев нельзя?

- Да привез я ему уже эти деревни. Гоняется за ними, что твой граф! Говорит, что возрастное. Да ешь ты, ешь! Приучи себя основательнее закусывать - и жизнь сразу повернется к тебе лицом!

- Габриэлова - это вы замуровали?! - не удержавшись, поинтересовался я.

- Конечно же нет! - Григорий Сильвестрович ответил с удивлением и зевнул. - А следовало бы! За то, что эта сволочь у меня портфель с документами уволок! Мне старец за это, будь здоров, как задницу нагрел. Слушай, ты Белкера-Замойского знаешь в лицо?

- В общем, да.

- Сможешь его узнать?

- Так же, как вас, - ответил я, не понимая, к чему он клонит.

- Может быть, тебе придется с ним встретиться и обмозговать кое-что. Да нет, не в Израиле! Тебе все это твой напарник сообщит. Ты же не один поедешь, у нас поодиночке не ездят. Андрей Дормидонтович тебе своего человека пришлет.

- Слушайте, а у вас нет настоящих русских, чтобы их сопровождать? А то мне как-то не по себе!

- А чем тебе михайловцы не нравятся? Нормальные русские, русее не бывает! Вообще-то кандидатов - пруд пруди, но остальные "риторнанты" - все евреи. Что за нация смешная - на месте им не сидится!

- А чего же вы Арьева не посылаете?! - вдруг спохватился я.

- Ты же его знаешь, чего спрашиваешь? - замахал руками Барский. - Это же Юлиус Фучик какой-то, а не человек! Обязательно все испортит.

- Френологу тебя бы хорошо показать,-добавил он неожиданно. - Давай я тебе череп посмотрю!

Я покорно наклонил голову, и он пощупал мой затылок.

- Ну, и что вы видите?

- Да я и сам плохо разбираюсь, - неохотно ответил Барский. - Не паникуй! Поедешь, сделаешь хороший отчет - если Андрею Дормидонтовичу понравится, считай, что твоя карьера сделана!

- Но почему вы обратились именно ко мне? -еще раз спросил я.

- Я ненавижу эти вопросы!! - закричал Григорий Сильвестрович. -Почему "ко мне"? Почему?! Потому что ты в картотеке. Потому что все в картотеке!

- В какой картотеке? - побледнев, спросил я.

- А-а? - протянул он, как глухой. - Давай еще выпьем. У тебя цель есть какая-нибудь в жизни? Что ты живешь, как монах? Ты в газете хочешь серьезной поработать?

- Кем?! - спросил я, внезапно очнувшись.

- Что "кем"?! - вскричал Барский. - А о чем мы с тобой тут три часа толкуем? Ты что, спишь или больной?!

- Нет, нет, я о чем-то задумался, - извинился я.

- Ты для России хочешь поработать?! - спросил Григорий Сильвестрович и встал.

- Да, для России хочу! - ответил я совершенно искренне и тоже встал.

- Тогда считай, что это приказ: о Румынии тебе сообщат позже. А

послезавтра к девяти часам как штык быть в редакции, держи адрес. И в рванье не приходи. Этого старец не выносит. Откуда он узнает? Старец знает все. Давай с тобой еще напоследок чокнемся! Пьем, будь она неладна, за нашу газету "Иерусалимские хроники".

Глава двадцать пятая. РЫНОК МАХАНЕИ ИЕХУДА.

Вот улица, на которой я живу. Она идет вдоль рынка. Тут живут в основном марокканцы и курды. Потемнело наше королевство. Вот здесь два года назад жила немка без лифчика, а напротив - шведка с мужем, на полголовы ниже нее ростом, и мордастый миссионер из Южной Африки. Всех смыло "указом". Без лифчика уехала в Гамбург, шведы потащились еще дальше на Восток, а мордастый из Южной Африки щелкает где-то своими мягкими пальцами, и в гостиную вбегают две нескладные черные служанки. А вот здесь, на втором этаже, долго жила русская бабка-машинистка, которая не читала ни на каких языках и шлепала пальцами вслепую. Ее отдали в дом престарелых. Скоро уедет Валька, спекулянтка из Кишинева. Валька была замужем за негром, но ее черный муж с черной дочкой навсегда остались в Союзе, а она обитает напротив моих окон вместе с жирным торговцем из Карфагена. У Вальки узкий таз и очень высокая грудь. Валька очень страстная. Иногда я подолгу печатаю и слышу, как пронзительно она кричит по ночам. Тогда я откладываю свою машинку и иду куда-нибудь к черту, прогуляться.

По вечерам, чтобы не тосковать одному, я слоняюсь в базарной толчее. Скоро, очень скоро мне придется отсюда выметаться, а пока я хожу, стою с открытым ртом, смотрю, как усатые мусорщики толкают с гортанным криком длинные железные телеги с гнильем. Вчерашнее предложение смутило мой покой, и я тяну время, застываю, кружу бесцельно - лишь бы не возвращаться в свою берлогу. Чужие люди...

Свежие питы только что из пекарни, свежие, свежие, падение, падение цен, десять на шекель, два на пять, только два на пять шекелей, ай-ай, только два, наш хозяин сошел с ума, только два на шекель, только шекель, только новенький шекель, только сегодня, два вместо трех, только два вместо трех, кто сказал "я", снижение, снижение, все на лиру, ой, все за лиру, ой, ой, ой, какой товар.

...Я закрываю глаза, плыву, не хочу шевелиться, чужие люди, крепостная стена из чужих голосов...

ай клубника, ай ягодка, "эйзе тут", последняя, последняя.

Полуголые жопы, потная, сбита, непьющая чернь, пьющая чернь, белая чернь, черная чернь, пекут пирожки для царицы неба. Тоска! Хочется податься отсюда, но не назад и не вперед, а в другое пространство и вбок. Пропади все пропадом. Только бы не видеть этих мертвых рож. "Жизнь - это смерть!" - справедливо сказал Адам Мицкевич. Что это за улица Данте такая, где на сорок метров две синагоги кошерных мясников и по ночам кричат в постелях страстные спекулянтки. Очень тошнит. Кажется, и жизнь пройдет, а тошнить не перестанет. Марокканский гаер шпилит на газетке в три листка. Все время тянет сыграть. Я зажил на свете. Расхлябанная сефардская песня доводит меня до слез. "Эцли аколь бесейдер". Видимо, это мой сентиментальный стиль, аромат чеснока, подгнившей клубники и неоформившихся брюнеток. Может быть, это уже пряный райский сад, я уже там? Нищий-слепец закончил вторую смену и покупает на вечер два килограмма "синеньких". "Что слышно? Скоро конец света?" "На днях! Мессия уже в пути!" Два городских вора, чокаясь, пьют у Мики. Нисим-парашютист вытаскивает на улицу узкую жаровню. Я молча слушаю этот полуарабский тарарам. Не хватает только карнавальных шлюх, но этот город сексуально абсолютно инертен. Когда моим согражданам нужна женщина, они просто идут и покупают себе фалафель. Дикое сочувствие к простым евреям подступало к самому моему дыхательному горлу. Они даже не догадывались о том, что так отчетливо уже несколько лет знал я! О том, что Время - не циклично, оно в длину! Земля, вертясь по оси, очень сбивала всех с толку! И люди колотились взад и вперед по рынку, и только я жил совершенно вне времени. Я даже забыл, как я выгляжу в базарной толпе. Когда я разбогатею, а я чувствовал, что это время уже подходит, я все равно буду возвращаться на эти три ступени, я навсегда присягаю этой рыночной толчее! Это - самая высокая точка города, и в известном смысле это самая высокая точка планеты! Она выше Эвереста, выше опавшего Храма, выше Ефремовой горы. Грехи моей временной родины лились на эти камни куриной кровью расплаты. Здесь пройдет зима и кончится лето. Потом наступит Судный день, и на базаре в очередной раз начнется куриный Освенцим! Все государство снова наестся жертвенного мяса, так что уже не вздохнуть, и кое-как начнет справляться с сутками ритуального голода. На этом базаре я чувствую себя в смене левитов у Храмовых ворот!

Две солдатки опалили меня запахом дешевой солдатской пудры, и я долго тащусь за ними следом, разглядывая лодыжки и проволочную линию ртов. Смотреть на них - это не секс. Это счастье! Если Григорий Сильвестрович устроит мою карьеру, я найму себе целый взвод этих школьниц в солдатских формах! С другой стороны, на трезвую голову, мне все больше казалось, что Григорию Сильвестровичу следует немедленно отказать. Никаких солдаток из девятого "б", не выходить на еврейскую аттестацию, а просто дезертировать в Крым и оставить смену левитов на произвол судьбы. Это не стыдно. Здесь трудно долго выдержать. И с этим фактом ничего нельзя поделать: есть такие фантастические романы про будущих людей, когда по улицам уже не ступает человеческая нога, или ракеты летят по тысяче лет, а

прилетят только правнуки или внуки. А остальные по дороге все время совещаются в оранжерее, но их всех неизбежно будут выкидывать в открытый космос. Вот так в Израиле. Тут нужно прожить, кто сколько сможет, а потом снова куда-то лететь или ехать. И может быть, удастся прийти в себя от этого космического кошмара. Я опять прошел кругами мимо трех листиков, и мне нестерпимо захотелось поставить деньги на кон. Высокая рыжая американка весело смотрела, как я вытаскиваю из кармана мятые бумажки. Я взглянул на нее и спросил глазами, ставить или не ставить. Она ответила:

"Гоу эхэд!" Почему бы моей женщине не оказаться рыжей ревнивой американкой?! Туманные намеки Григория Сильвестровича очень точно попали в цель.

ай, клубника, ай, клубника, ай, какая ягодка!

Под ногами лежали две черные семерки и морда, и шансы были один против двух. Какая-то давно забытая жизнь выползла из моего подсознания. Толстый тайманец передо мной спрятал в бумажник выигранную серую сотню, уголовник взмахнул коричневой рукой и снова приоткрыл атласный уголок карты. Мне показалось, что на этой карте вся моя жизнь, счастье и слезы, грудь, губы, незнакомые голоса, а что под картой - боль и осень, и еще много крови, наперед человеку знать это не дано.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая. НА АНТРЕСОЛЯХ.

Открывая вторую часть своих хроник, я хочу сказать, наконец, что-нибудь позитивное. Я всю жизнь всего стеснялся. Я стеснялся своего косноязычия. Я стеснялся своих неврозов и страхов. Я стеснялся быть русским и бредил Голландией. Я стеснялся быть евреем (быть русским казалось мне недостижимым счастьем). Я стеснялся никем не быть. И вот речь моя постепенно выравнилась. Меня уже давно тошнит и от русских и от евреев. Меня коврижками не заманишь в Голландию! Все суета сует. Придворные кичатся несуществующими дворами, русские - своей полуразваленной империей, евреи тем, ну в общем тем, чем должны кичиться евреи! Не кичись, человек! Тебе нечем гордиться. Ты мерзко прожил, и все, что ты не успел в своей жизни украсть, с собой в гроб не унесешь! И лучше не желать жены ближнего своего, ни вола его, ни осла его! Женись на разведенной. Мирись с соперником своим в пути, и если он все-таки захочет судиться с тобой из-за рубашки, отдай ему и верхнюю одежду - пусть несет! Все равно ты не станешь в такую жару напяливать пиджак на голое тело! И помни, что если твой правый глаз смотрит на женщину с вожделением, то лучше вырвать себе правый глаз! И лучше вырвать левый! *Horribile dictu!* Слепой ведет слепого! Но только не обманывай себя! Не удерживай себя подленькой мыслью, что, вырвав оба глаза, ты никогда в жизни не сможешь прочитать свежий номер израильских газет! Во всяком случае, не удерживай себя из-за газеты "Иерусалимские хроники"! Этой газеты больше нет на свете! Есть газеты, которым судьба открыться, есть газеты, которым судьба закрыться, но есть и такие, которые никогда ни одним номером не выходили в свет, даже редкие номера их не желтеют на антресолях у коллекционеров! Лишь где-то в Висконсине, на ферме у гениального старца, валяется кучка неопубликованных материалов, да пачка смет, да вот несколько страниц хроник - вот все, что осталось от последнего дела, которому я служил!

Глава вторая. АЛКА – ХРОМАЯ.

Из неопубликованных материалов "Иерусалимских хроник"

Речь в рассказе идет о том, что герой живет в каком-то городе, кажется в Херсоне или в Одессе, и выходит как-то вечером, духота страшная. Непонятно, какой город. Пионерский парк. Кинотеатр "Спартак" с тремя залами. Может быть, Ялта. Речка Учан-Су течет. И герой нормально так выходит из дома и не знает, куда ему податься. И встречает одну девчонку, но она жила не в их дворе, а где-то по соседству. Они были мало знакомы. Так только, переглядывались. Но он знал, что ее зовут Алка-хромая. Не блядь, но ее можно было уговорить. "Я не такая, я жду трамвая!" - вот без этого. Она была чуть постарше, лет двадцать семь, а он после училища

плавал третьим помощником на "Юрии Гагарине". Ну и так далее, и он ее пригласил. Взяли бутылочку вина Абрау-дюрсо, а у него был какой-то друг в гостинице, и как раз в эту ночь этот друг был на работе. И он им бесплатно сделал номер. Только чтобы они не задерживались и ушли в конце смены. Он только сказал: "Боря, нужен номер", и хотел бы я посмотреть, как бы этот Боря им отказал. И как-то они туда поднялись. Девчонка, эта Алка, пошла принять душ, а душ был в конце коридора, а он в это время отпер комнату и обалдел! В комнате было ровно шесть кроватей, и такие стояли станки, что непонятно, что с ними делать. Но он вообще был с художественным вкусом, после училища, и пока она мылась, он половину этих железных кроватей взгромоздил друг на друга, а вторую половину закрыл пикейными одеялами и включил торшер!

А потом приходит она. А она, кажется, даже с палочкой ходила и чуток на одну ногу прихрамывала. И дальше она там раздевается, а он пока сидел и курил в коридоре папироску за папироской. Наконец она легла, а он - человек флотский, бжык, все с себя скинул, подошел к кровати и обмер.

Возле кровати стоял лакированный протез. И у этой Алки одна нога, а второй как не бывало. Девка такая литая, грудь - красавица, ну все там на месте, а ноги нет. И он стоит в трусах и не знает, как теперь к ней повернуться. А до этого там ветерок в кафе, шашлычки покушали, вина выпили по стакану. И вот она лежит, на него смотрит. И все-таки медленно-медленно он к ней повернулся. А она говорит: "Ты что же, не знал? Мы же, - говорит, - с тобой в одной десятилетке учились, как же ты мог не знать!"

"Ей Богу, - говорит, - Алка, не знал!"

- Раздумал ложиться?!

А он отвечает, что не раздумал, но надо покурить. И снова они выпили. "Давай, - говорит, - я с тобой одетый полежу".

Так лежат и пьют. Девка тактичная очень оказалась. Лежит и виду не подает. И тут у него наступает какое-то дикое возбуждение. Она сама говорит: "Погаси свет!" Такая крепкая крымская девка лежит в лифчике. "Золотой ранет". Она в лифчике почему-то легла, но он, конечно, лифчик снял. Вот такая была безумная ночь.

А часов в пять начало светать, на юге рано светает. И Алка говорит: "Сходи, - говорит, - принеси чего-нибудь пожевать!" А напротив было кафе для шоферов, и ужасно хотелось есть. И вот он выходит из этой паршивой гостиницы, солнце светит уже яркое, и вдруг он чувствует со всей ясностью, отчетливо-отчетливо, что нет таких сил на свете, которые заставят его вернуться в эту комнату на пятом этаже, где друг на дружке как слоны стоят пять кроватей и на шестой кровати лежит женщина с деревянной ногой. И сбежал. Сбежал - и с концами.

Потом они куда-то уходили на "Юрии Гагарине" плавать, а еще позже он из этого города уехал и насовсем переехал в Молдавию. Работал в одной газете корреспондентом. И вот однажды поехал в командировку в какой-то маленький городок и сошел с поезда прямо на привокзальную площадь, возле которой стоял старый автобус. А вокруг сплошные яблоневые сады. И

вдруг видит, что за ближайшим забором, метрах в десяти от него, стоит Алка-хромая и презрительно на него смотрит. И он подходит ближе и не знает, что сказать, хоть он и корреспондент. А она даже "здравствуйте" не сказала, смотрит и говорит полупшепотом: "Как же ты посмел меня тогда бросить?! Как же я, по-твоему, могла оттуда одна выйти?!"

И вроде времени уже десять лет прошло, но как вчера. Он уже даже отсидеть успел пару лет. Но он бы и из лагеря не стал выходить, знай он, что он Алку тут встретит.

Глава третья. КИКО. (До конкурса шесть месяцев)

Период душевной слабости. Нет ничего противнее, чем родиться на свет в зрелом возрасте, когда вам уже под сорок (вариант - вообще не родиться). И у вас нет отчетливого желания стать камбоджийцем (это было бы странным) и умереть под деревянным молотком Пол-Пота. Если вы никем не желаете становиться, период душевной слабости может перерасти в личную катастрофу. Я протер очки и посмотрел на часы. Григорий Сильвестрович назначил мне встречу на час (вариант - на два, еще вариант - вообще ничего не назначал, на хер я ему сдался). Оставалось еще минут двадцать, но мне было ни за что не приняться. Внешне могло показаться, что я покорился чужой посторонней воле и возделывал чужой виноградник (ах, если б), но про себя я знал, что я решил тянуть и из Иерусалима не уезжать. Город мыли морской водой, город освобождался от швали. Но я решил не уезжать.

Мне необходимо было время, чтобы решить, куда ехать. (Я тоже человек.) Возвращаться в Россию я больше не мог. Я даже не пытался объяснить это словами, что, например, ты любишь корюшку, а потом взял и разлюбил, потому что она не так воняет. Или сирень не вызывает любовной дрожи. И ее вообще уже ничто не вызывает. Никто. Нечему дрожать. И не войти в поток, который любишь, дважды. Израиль я тоже не очень любил (это не то слово), но я понимал, что меня, как варварскую принцессу (забыл ее имя), отсюда гонят, и мое состояние правильное было бы назвать активным оцепенением. Конечно, в глубине души каждый хочет дожить до смерти в каком-нибудь стабильном месте, чтобы тебя не дергали. Если предположить, что каждый человек - это я.

С нового года иврит стал обязательным для всех. Даже для лимитчиков. Новый эсперанто. Даже Григорий Сильвестрович, чертыхаясь, учил глаголы. Между тем, я ежедневно ходил на службу, социализировался, так что головы от работы было не поднять. Я готовил к переводу на иврит и английский пропасть художественных текстов. В конце дня приходил какой-то придурок (настоящий), который крутил резиновый жгутик, забирал листки с собой, и я их никогда уже больше не видел.

А я закутывался в плед и подолгу сидел. Можно было уйти, но я не уходил.

Я был окружен идиотами, которые или ненавидели арабов, или крутили резиновые жгутики, или сами вдобавок были арабами, что ничуть не лучше. По звонку приходила женщина в фиолетовом парике и приносила кофе. Я пробовал заговорить с ней и два-три раза постучал ее по попе, но она только улыбалась, как Джоконда. С Григорием Сильвестровичем мы, кстати, пока ничего вместе не писали. "Главное писать буду я сам, - сказал он, - жизнь! А все остальное - семантические знаки, вторая сигнальная система, это ты мне повставляешь, где сможешь".

Роман назывался - "Русский романс"! То есть романа, как такового, еще не было, но было много разных смелых набросков, иногда даже сексуального характера.

- Нужно было вас самого на премию подать, - сказал я в шутку.

- Да я и сам хотел, - серьезно ответил Григорий Сильвестрович, - но я поздно начал писать настоящую прозу.

- Ну и это хорошо.

Больше мы пока к его роману не возвращались. Пока я укорачивал какую-то другую прозу. Приблизительно втрое. Проза при этом становилась настолько американской, что уже не каждый американец годился для этой прозы.

Постепенно я понял основную идею старца - эту святую заразу, эту зловонную достоевщину любой цивилизованный читатель должен был стряхивать с себя, как ехидну. Нужно было переводить не прозу - нужно было переводить русский дух! Но настоящего материала все-таки было мало.

На сегодня передо мной лежала повесть московского панкиста про Кико. Про Кико, кроме всего, было сказано, что он "яйцист". Я раньше никогда не встречал такого выражения. Я даже не совсем понимал, что оно означает. Поэтому я пытался

американизировать образ панка вслепую. Но сначала я нарисовал на полях незабудки и цветными карандашами раз за разом рисовал самого яйцистого Кико. За этим занятием меня и застал Григорий Сильвестрович.

- Очень симпатичные рисуночки! - сказал он, увидев моего Кико, которому я для остротки вклеил половой член прямо в лоб. - Тебя не нужно сводить к психоаналитику? Ну, как?

- Бледновато. Про яйциста здорово, но тоже требует доработки. Я думаю, что этот Кико должен поймать где-нибудь в парадном американку и изнасиловать. Или, еще лучше, зверски избить и изнасиловать. Старый трюк. Если он хоккеист, то пусть избьет ее клюшкой. И изнасилует клюшкой. Пошлите ему переделать. Вот тут я план набросал.

Григорий Сильвестрович нахлобучил на мясистый нос очки и, сидя на подоконнике, начал вполголоса читать.

- Занятно, - сказал он, наконец, очень кислым голосом. - И что же ты предлагаешь?

- Чего мне предлагать? Все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите навязать американцам свои вкусы и этого балбеса Менделевича, то наймите лучше авторов, лучших критиков, скупайте все, что появляется в России. '

- Денег нет, - скучным голосом сказал Григорий Сильвестрович.
 - Ну тогда не знаю, запугайте их чем-нибудь. Меня же вы запугали. Нет денег, так нечего газеты открывать!
 - Ладно, ладно, - ласково сказал Григорий Сильвестрович, - дай мне имена всех, кого ты хочешь видеть в списке авторов, а я всем телеграфирую запрос. Пиши всех своих Платоновых, я хочу посмотреть, как они откажутся, когда их попросит сам старче.
 - Поздно, Платонов уже того.
 - Знаешь, - сказал Григорий Сильвестрович, изображая из себя обиженного, - ты не умничай, я все-таки подданный Швеции. Я отстал от литературного процесса. Вписывай кого хочешь и давай мне такие материалы, чтобы за стихами Менделевича стояла очередь в сорока девяти штатах.
 - Показали бы, что у вас в предыдущих макетах!
 - Не нужно тебе смотреть. Вот братья из Америки вернутся, тогда и посмотришь. А пока дерзай самостоятельно.
- Он вернулся к себе в кабинет, а я остался дерзать.

Глава четвертая. ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ.

Из неопубликованных материалов "Иерусалимских хроник"

Чистосердечное признание имеет, к сожалению, две стороны.

С одной стороны, чистосердечное признание облегчает вину. Но с другой стороны, вина устанавливается согласно этому же самому чистосердечному признанию. Из чего следует, что если нет свидетельских показаний и прямых улик, то лучше чистосердечно никогда не признаваться.

Самый лучший пример - бухаринские процессы. Так строился весь метод следствия: добиться от подследственного хотя бы самого маленького признания, чтобы потом за него можно было зацепиться.

Жанр, в котором я пишу, - это исторический рассказ. Это, к сожалению, сюжетный рассказ. У него есть начало и конец. Это не ассоциативная проза, которой сейчас владеет каждый интеллигентный харьковчанин, обладающий некоторыми писательскими навыками. А Давидов - это не тот Давидов. Давидов - это бухарин, или бухарец, как вам больше нравится. Давидов собирается поехать в Америку и выучиться там на парикмахера. С Давидовым мы вместе охраняли киностудию Менахема Голана, который ставит в Израиле голливудские фильмы с участием Аиды Ведищевой и Савелия Крамарова.

Крамаров и Ведищева - те. Но они не имеют прямого отношения к рассказу. А Голан - это название географического места, где стоял гарнизон Иосифа Флавия. Главный город Голан назывался Гамла. Там сейчас ничего нет - одни раскопки. Но вы, наверное, помните в "Мастере и Маргарите" странные слова Иисуса, что "матери я не помню, а отец - сириец из Гамлы". И один иерусалимский профессор защитил диссертацию об Иисусе, где он

доказывает, что "Нацерет" был ошибкой, что такой город не существовал, а на самом деле Иисус происходил из голанского городка Эйн-Сарит. Голанского, а не голландского. В свое время эту область дали колену Менаше. Давидова тоже зовут Менаше. Эти подробности и география очень важны потому, что есть еще один герой моего рассказа, кацин-битахон по фамилии Гильбоа. А Гильбоа - это тоже важное историческое место, которое связано с двумя древними историями и одной современной, произошедшей лично со мной. Гидеон там разбил как раз тех мидийцев, из которых происходил Кир, а вторая история - как царь Саул потерпел там поражение от филистимлян и умирающего Саула заколол отрок-амалейк. Сейчас амалейков почти нет, но я знаю сразу двух амалейков, одного зовут Сулейман. Он окончил коммунистический университет в Рамалле и работает сторожем на водокачке. Один раз он целую ночь приставал ко мне с вопросами, как я отношусь к прибавочной стоимости. А со вторым амалейком мы вместе сидели в Енисейске. Я его и сейчас иногда встречаю в Тель-Авиве, и он мне всегда говорит, что понял для себя одну очень важную вещь, что нельзя пить с антиподами. От этого происходят все неприятности. Енисейск - это достоевский городок, в котором все петрашевцы уже давно спились или сильно пьют. Одним словом, отрока-амалейка убил Давид, а голову Саула выставили на крепостной стене в Бейт-шеане. Голову отбили гилатцы. Отбили голову, похоронили Саула и семь дней постились. Гилатцы происходили с северо-востока Голан и юга Сирии. Но тогда эти высоты еще не назывались Голанами. Южная часть высот называлась Баш-ан. О ней упоминает пророк Амос, говоря о тучных "васанских" телках, и до сих пор есть такой дорогой "Баш-анский" сыр на "Тнуве", где работает Петька Биркенблит, но Петька ничего молочного на работе не ест, а мама ему привозит из Беэр-Шевы свиное сало, которое она покупает там у русских. Там даже можно купить воблу, а по четвергам на базаре в углу стоят бедуины, и если сказать, что ты от Джамалы, то можно себе навсегда долларов за двести купить девушку. Двести долларов было два года назад, я там давно не был. Последним там был Володька Шнайдер, который сидит сейчас в "Джамале", а до этого сидел в Беэр-Шевской тюрьме, и он в курсе дела. Но если вы захотите навести у него справки, то для этого вам нужно сначала взять его на поруки, потому что я слышал, что во вторник он ходил по рынку с русским полицейским и просил знакомых, чтобы его кто-нибудь взял на поруки. И на всякий случай передал свои координаты Шалве, тому, который говорит, что он художник, а не портной, что он Шеварднадзе брюки шил, а сейчас он торгует на рынке очками. Если у вас одинаковое зрение на оба глаза, то у него можно подобрать совершенно чистенькие очки шекелей за восемь, я не знаю, где он их берет. Еще с ним можно поговорить о футболе, но он даже не помнит чемпионского состава тбилисского "Динамо" с двумя Сичинавами, Хурцилавой и Месхи, а про остальных футболистов говорит, что знает, что в Москве "хороший шоэр был, Яшею звали". То есть я хочу еще раз повторить, что вокруг нас происходит какая-то невероятная цепь исторических тождеств, потому что фамилия начальника киностудии

была Голан, кацин-битахона Гильбоа, а Давидов сторожил там уже второй месяц, когда ему в помощь прислали дежурить меня.

Мы поужинали каждый своим, и Давидов рассказал мне, что проверяющий приходит с десяти тридцати до часу тридцати, но дважды за ночь уже не приходит никогда. И мы решили, пока он не придет, не ложиться, а потом уже спокойно спать до утра. Спальных мест на этой киностудии два. Можно спать в самой сторожевой будке, на полу постелить одеяло и лечь. А есть еще место на горе в специальных фургончиках, которые прикрепляют к автомашинам. Это для актеров. Предположим, приезжает Питер О'Тул сниматься в "Массаде", не заставишь же его спать в палатке. И Савелия Крамарова тоже уже, наверное, с Ведищевой не заставишь, и для них там есть такие фургончики, которые в ту ночь пустовали, потому что шел праздник суккот. И так мы посидели, подождали пока придет Гильбоа. А после его прихода мы бросили жребий, и Давидову выпало спать в фургончике, а мне в самой будке. Я надел пижамные штаны, которые мне в прошлом году выдали в больнице Хадаса, синенькие, постелил одеяло и лег. Это большое неудобство сторожевой работы, что приходится спать в одежде. Но когда я сплю на новом месте на полу, я сплю очень крепко. И часа через полтора я услышал, как к будке подъехала машина. И сразу встал. Так что когда Гильбоа входил ко мне в будку, то я встретил его босиком и в пижаме, но все-таки не спящим. Гильбоа сразу же спросил, где второй сторож. Но он понял, что я спал, потому что на полу было расстелено одеяло. Я сказал, что второй сторож пошел в обход. И тогда Гильбоа неожиданно стал громко орать, что он не пошел ни в какой обход, а пошел воровать колбасу, предназначенную для голливудских артистов, а я покрываю вора и пойду сидеть вместе с ним в "Джамале", где именно и сидят такие бухарские прохиндеи, как мы, которые воруют колбасу.

Про колбасу я ничего не знал. Я знал, что киностудия находится в том месте, куда филистимляне вернули украденный Ковчег Завета, пока его впоследствии не забрал отсюда Давид. Место это называлось Кириат-Иарим, а сейчас там находится арабская деревня Абугош, но это не оккупированная территория, и арабы там все свои, принадлежащие Израилю в качестве израильских граждан.

Наконец Гильбоа уселся и стал ждать, пока Давидов принесет эту гипотетическую колбасу. И ждал он около часа. А Давидов в это время спал в просторном фургоне, предназначенном для Элизабет Тейлор со всеми ее бебехами, или в крайнем случае для Аиды Ведищевой, о которой журнал "Круг" писал, что она возит за собой две тонны оборудования. Но мне сказал один знакомый парнишка, который раньше был радистом в ансамбле "Водограй", где выступает София Ротару, что Ротару возит за собой пять тонн оборудования, и поэтому он относился к Ведищевой немного свысока. Тем более, что Ведищева была даже не из столичного города, а из рязанской эстрады. А Рязань хоть и была с двенадцатого по четырнадцатый век столицей рязанского княжества, но сейчас это областной город, почти райцентр. Алеша Попович, кстати, был из Рязани. И Добрыня Рязанич,

который погиб на Калке. И еще там некоторое время правил внук Мономаха Владимир Мстиславович, которого выгнали из Киева и он слонялся по разным странам, пока не осел в Рязани, - то есть история прямо противоположная Аиде Ведищевой. А уже из Рязани его выгнал по странному совпадению тоже Давидов. Ростислав Давидов, сын князя Давида, родственника Глеба. Выгнал он его в Дрогобыч, где у меня была очень хорошая знакомая Алка Пупарева, дрогобычские ее знают. Однажды ее старший лейтенант Зельцер отвел в кино, а она была сильно пьяной и начала громко ругаться матом, так что даже старший лейтенант не выдержал и сказал: "Молчи, сука, здесь командир батальона!" Но вообще я замечаю, что в Израиле пьют больше, чем в Союзе, потому что в Союзе пол-литра - это уже приличная доза, а в Израиле это - "так". Для опохмелки в последний день запоя. В Израиле очень много сумасшедших, и нужно много пить, потому что водка останавливает этот вирус сумасшествия. В Америке тоже очень много сумасшедших, так что даже Аида Ведищева, когда она приехала в Америку, была вынуждена запереться у себя в комнате, никуда не выходить целый год, покраситься в бледный цвет под Мерлин Монро и разучивать все ее песни. А в Союзе она была стопроцентной брюнеткой и пела в кинофильме "Кавказская пленница", где главного героя, грузина, играет бухарский еврей Этуш. Еще этот Этуш играет в каком-то фильме с Георгием Вициным турецкого пашу и вдруг неожиданно заговаривает на русском языке, а когда Вицин очень удивляется, то "паша" объясняет ему, что у него теща с Мытищ. Но вообще с бухарскими евреями у меня всегда связаны какие-нибудь недоразумения. Потому что уже в самом корне этого слова заключено противоречие. Я сам лично был свидетелем, как Борис Федорович, который довольно долго жил в Германии и основательно знал немецкий, спорил с одним человеком, как будет множественное число от слова "бух". Борис Федорович утверждал, что множественное число будет "бухим", а его собеседник доказывал, что "бухим" - это значит бухать, а множественное число будет как в "марширен" и "шпацирен" - то есть "бухен".

И еще более удивительная история произошла со мной самим в старом городе, когда из торговых рядов вышел с ружьем один очень известный иерусалимский профессор и совершенно трезвым голосом сказал мне, что мне нашли невесту, что она тоже бухает, но будет держать меня в "ежовых рукавицах". Выговорив это, он опять ушел во тьму, похожий одновременно на ополченца и на знаменитого генерала Антона Деникина. И все это оказалось полной чепухой, то есть про "ежовые рукавицы", может быть, и да, а спиртного она в рот не берет, просто она бухарка.

Между тем, поджидая Давидова, кацин-битахон начал рыться в моих вещах, и я ему зло сказал, что сумка-то это - моя! Тогда он начал рыться в сумке Давидова и нашел там большую связку ключей и асимоны. И еще бутерброд с колбасой, но уже откусанный. Но он все равно при виде бутерброда повеселел, выругался по-арабски и сказал, что "вот оно вещественное доказательство". И чтобы я под страхом смерти не двигался с

места. Сам он выбежал на дорогу, остановил белое "субару" и уехал звонить. А я, несмотря на его приказ не двигаться с места, сбегал к Элизабет Тейлор разбудить Давидова. Крикнул ему: "Эй, ты, срочно вставай, кацин-битахон приехал!", и сразу вернулся и сел.

Через пять минут к моей будочке, практически одновременно, подкатил Гильбоа на белом "субару", а с горы начал спускаться с фонариком Давидов, делая вид, что он был на обходе, в точности повторяя ситуацию в Книге Судей, когда с гор Гильбоа спускается с горящими факелами Гидеон.

Кацин-битахон приказал Давиду тоже сидеть и с Давидовой связкой ключей побежал к столовой, пытаясь понять, какой ключ подходит к столовой с колбасой. Кацин-битахон был местный, от Менаше Голана. Обычно существуют два типа кацин-битахонов: от фирмы, где ты работаешь, которым на все наплевать, и от места. Кацин-битахон "от места" попадают иногда невероятно склочные. И последнее увольнение Бориса Федоровича со "шмеры" было связано с кацин-битахоном Министерства иностранных дел. Борис Федорович на дежурстве ночью здорово напивался, вырубал электрические пробки и вызывал свое начальство из фирмы "Шомрей коль", а вместо них один раз явился кацин-битахон "от места", которому пьяный Борис Федорович дал по морде. И тот пожаловался начальству. Происходило это все на польском языке, потому что Борис Федорович сидел в тюрьме в Бресте и умел немного говорить по-польски. И мало того, что Бориса Федоровича выгнали, но вообще это место отняли у "Шомрей коль" - "Сторожащие все" и отдали его сторожевой фирме "Офарим", которое значит "Рябиновка", созвучно настойке, которую Борис Федорович принципиально не пил. Хотя в последнее время он вместо водки, которую ему стало трудно пить, начал пить вина. Но так как сладкие вина были для него слишком сладкими, а кислые вина - слишком кислыми, то он стал все вина смешивать. А закусывать эти его новоизобретения было неизвестно чем, так как у Бориса Федоровича была твердая идея, что вина нужно закусывать пирожным, а пирожного он в жизни не пробовал и очень этим гордился. Говорил: "Пирожных нам на зоне не давали!"

И Бориса Федоровича тоже уволили из шмеры "Шомрей коль" и приняли в шмеру "Офарим", и вы представляете удивление этого польского офицера охраны, когда ровно через три дня он снова увидел на рабочем месте пьяную татарскую морду Бориса Федоровича, но уже в другой форме. Потому что Борис Федорович хоть и провел вторую половину жизни иерусалимским евреем, но первую половину он все-таки был сталинградским татаринном. Скорее всего крещеным, хоть и не обязательно: Борис Федорович был с тридцать второго года, а Сталинград был городом новым, городом пятилеток. Сам Царицын - городишко крохотный, и вся эта катавасия во время гражданской войны произошла не из-за его собственной ценности, а потому что, захватив его, три белые армии - добровольческая, армия Деникина и армия генерала Краснова - могли бы соединиться. А красные предпочитали разбить их поодиночке. И только уже "Тракторный завод", со своими тракторами и танками, привлек в Сталинград много татар, положив начало

истории Бориса Федоровича. Вообще у Бориса Федоровича все его попытки социализироваться оканчивались всегда неудачами. Второй раз его взяли работать сторожем в пекарню Бермана, но он под утро не впустил туда самого хозяина, Бермана. Сказал ему "асур". И в таком роде.

Тем временем Гильбоа вернулся к нам в будку и сказал с досадой, что ключи не подошли, но он берет откусанный бутерброд и везет его на экспертизу, потому что первая палка колбасы исчезла, вторая палка колбасы исчезла, потом двенадцать кур исчезло, и они всю колбасу посыпали такой специальной синтетической пылью от воров. А нас с Давидовым повезли разбираться в контору. По дороге Давидов признался мне шепотом, что колбаса казенная, и начал мне выговаривать, что я не доел его бутерброд из сумки, когда приехал проверяющий. Чтобы замести следы.

Все-таки он - настоящий бухарец. Тут, вспомнив про бухаринские процессы, я сказал ему, чтобы он всюду говорил, что купил колбасу в "Машбуре". Но не тут-то было.

На него сразу на село несколько человек. Ему говорили, что только бы он признался, "лучше признайся". Что сразу все замнут. Что Минаше Голан их близкий друг. А иначе ему будет каюк. И Давидов раскололся. Он признался только в этом бутерброде, но через пять минут на него уже навесили две палки колбасы и двенадцать кур. А вместо этого нужно было твердо знать, что косвенных улик для обвинения недостаточно. Бутерброд с колбасой - это косвенная улика. Вот укушенный бутерброд с колбасой, найденный на месте преступления, - это была бы прямая улика. И признаваться нужно, только если они стопроцентные, это я говорю о мелких статьях. А в крупных преступлениях правильнее не признаваться никогда. И уж конечно, нужно делиться бутербродами с колбасой со своими товарищами, даже если спишь в фургоне Элизабет Тейлор.

Глава пятая. ТЕКУЧКА.

(До конкурса пять с половиной месяцев)

Странная эмигрантская служба в особнячке. Мне подыскали квартиру. Борис Федорович залез ночью в окно, и сразу запахло степью. Я его покормил и тем же путем отправил. Расспрашивал меня о газете. Он очень переживает, что мне пока не платят зарплаты. Говорит, что Толстый меня надует. Какая-то забывчивость наступает. Это меня не мучает, но я все время рассеян, как склероз. То активно работаю, потом надоедает, и я начинаю грызть ноготь. Я кормлюсь по талонам в лимитной столовой, и днем секретарша таскает кофе. Уже не девочка, но видно, что была красавицей. Ничего, но худовата. Боря уже несколько месяцев ищет однофамильца Шиллера, но нет следов. Боря думает, что его могли увезти на подводной лодке в открытое море и там утопить. Я регулярно хожу в редакцию. Вахтер Шалва проверяет на входе мою сумку. Вахтер Шалва - единственный человек у нас в конторе, который получает зарплату. У него отец - грузин. Четвертый

кабинет по коридору с табличкой "магистр". Пятый кабинет - Шкловца. Тараскин и Арьев до сих пор в отъезде, но ходит слух, что газета утверждена и уже начала печататься в Висконсине. Я точно знаю, что слух этот распространяет сам Григорий Сильвестрович. Дверь к Григорию Сильвестровичу приоткрыта, на ней надпись "Без доклада не входить". Я начал к нему привыкать. Менделевич пьет пиво в центре города. Он услышал, что деньги за нобелевку пойдут Фишеру, и на всех страшно дуется. Франклин и Бэкон прожили до девяноста шести лет. Сорок пять из них они были Шекспиром. Потом у Бэкона отказала вся правая половина мозга, и он научился управлять левой. В стране продолжалась национальная реформа, повезли вьетнамцев-лодочников. Я люблю ставить на бумаге разные слова. Идет радиоактивный дождь. После него начинает болеть вся голова и отдельно каждый волос. Я подсушиваю себя, как мокрый крот. В ногах слабость. Ничего не получается писать, такая пустота внутри, что ее не затянуть никакой прозой. Нет уже ни ума, никаких сил, ни костей, ни точки зрения, нечем даже пить, болит печень. Я создаю себе новую эстетику. Чтобы не пахло реализмом. Я и не умею. Это не достоинство, что не пахнет. Я бы мечтал, чтобы пахло. Чтобы миндаль в трюфелях пах как миндаль в трюфелях и хотелось утереть пылицу с губ. Чтобы социализм пах зассанной парадной, несбывшаяся любовь - отвратительной лавандой. Выяснилось, что я отвык сидеть за полированным столом, с него все соскальзывало. И Григорий Сильвестрович привез мне верстак из струганных досок. По прошествии нескольких лет в старую запись не влезть. Это я и сам знаю. Откуда взялось это название - "Иерусалимские хроники"? Думаю, что от старца, он претендовал на духовный престол, и у Менделевича об этом была поэма. Все Менделевич да Менделевич. Прибежал Григорий Сильвестрович, весь светится, кричит: "Есть заказик мировой! Просто ой какой заказик! Я хочу, чтобы ты поговорил с Менделевичем. Ну, чтобы ты слова нужные подобрал. В крайнем случае, мы сами напишем".

- Да что напишем?

-А? Я разве не сказал? Гимн ему заказали. Гимн должен быть простой, грандиозный, но и без выебонов. "Иерусалим - столица мира". Такой, знаешь... - он спел несколько тактов. - Талант вручен не тому. Но я еще одну книгу серьезную задумал.

-На русском?-скорбно переспросил я.

- Глупый вопрос, но своевременный. После старца писать на русском уже нельзя. Это выглядит как литературный грабёж! Но все-таки я пишу на русском. А ты должен мне кое-чего посоветовать.

-Смогу ли я, Григорий Сильвестрович?-сказал я с сомнением.

-Сможешь, если захочешь,-пробурчал он,-газету нашу Андрей Дормидонтович утвердил, но пока об этом молчок. Вот, посмотри пока наброски...

Глава шестая. РОДОСЛОВНАЯ.

Из неопубликованных материалов "Иерусалимских хроник"

Месту моему без малого тысяча двадцать семь лет. Мы - древляне. На нашем троне сидел князь Олег Святославович- внук князя Игоря и родной правнук Рюрика. В пятнадцать лет Олег заколол сына военачальника Сванельда и был за это сброшен с моста через нашу речку. Сейчас за этим мостом размещается наш автобатальон. А там, где стоял деревянный замок Рюрика Ростиславовича, расположен огород тетки Палашки и очень древний железнодорожный вокзал. Московские поезда в столице древлян останавливаются никак не меньше, чем на три минуты, а Орша-Казатин стоит и все десять. За три минуты мало что можно успеть продать, но летом древляне выносят к поезду желтые сливки, яблочки "семиренку", а зимой мамаша Аркаши-хохла, если забивала кабанчика, выносила еще и сальце, приговаривая: "Не хочу его на базаре жидам продавати, краше я своим с поезду продам". И в этом она, вероятнее всего, ошибалась, потому что по понедельникам, средам и пятницам на три минуты останавливался еще и скорый поезд Ленинград-Одесса, и евреев в нем было "дюже богато". Тетка Палашка торговала еще на станции горилкою, но народ с поезда до горилки был небольшой охотник, а два станционных милиционера постоянно угрожали ей штрафами. От мундировых она откупалась той же горилкою, но все-таки основными ее покупателями была солдатня из окрестного села Швабы, где стоял резервный танковый полк. Все мужики этого села тоже носят фамилию Шваб. Сто пятьдесят лет назад немец-помещик Шваб, чтобы не морочить себе голову такими длинными прозвищами, как Мыкытенко, Гопанчук или Степуренко, назвал всех своих древлян просто Швабами. Пшеничную она продавала швабам по рупь десять бутылка, а буряковую от девяноста копеек до рубля, и, таким образом, тетка Палашка имела копеек по двадцать с бутылки. Но если были деньги, то в райпищеторге можно было взять чего-нибудь получше, например, всегда была местная стрелецкая водка по два сорок бутылка. И с ней уже думать, куда податься дальше. Можно было поехать в соседнее село Гачище, где в отдельном доме жила бывшая жена прапорщика из автобатальона. Муж ее бросил и женился на Тамарке из второй школы, на сероглазой, на древлянской целочке. Еще было много сосланных после химии, уже не очень молодых баб, которые все сильно пили. В больших городах их поэтому не прописывали. К ним вполне можно было заявиться с бутылкой, взять только икру кабачковую, кильку в томатном соусе и парочку батонов хлеба. Ходили еще древляне к симпатичной бабе Наташке, очень доброй, у которой можно было выпить в бане, но от самой Наташки можно было, конечно, подзаразиться. И, на худой конец, было еще несколько разбитных учительниц, но они пускали не всех. Школ в столице древлян было всего четыре - две украинские и две русские, но одну из них по привычке называли жидовской. Кроме того, древляне гордятся своим филиалом киевского завода порционных автоматов, который

построили в самом центре, напротив стоит комбинат молочных консервов и винный завод, где производят "билэ мицне" и "червонэ мицне", но это на любителя. Летом еще можно выпить на стадионе на две тысячи мест - футбол в городе в большом почете. И если вы помните Круликовского, защитника из киевского "Динамо", то это наш, древлянский. Есть Дом офицеров, где работает жена лейтенанта Самохина. Самохин служил где-то под Костромой и там на ней женился. По словам Самохина, жена у него - экономист, но древляне считают, что это очень сомнительно. Курит она страшно, как будто она в Европе или у себя в Костроме: в Овруче женщины так пока еще не курят, даже девки на танцплощадках прячутся для этого в кустах. И вот именно к этой жене лейтенанта Самохина повадился ходить один красавчик эстонец, который крутил в Доме офицеров кино. Посадит себе хлопчика у кинопроектора, а сам берет и запирается с Самохиной в библиотеке. И вот однажды лейтенант Самохин был где-то на стрельбище в Игнатполе, и то ли стрельбы окончились раньше, то ли он в Игнатполе напился и стал дико подозрителен, но он решил жинку свою проверить и в ту же ночь неожиданно завалился домой. Смотрит, в салоне стоят солдатские чоботы сорок четвертого размера. А этот эстонец выскочил в окно, прихватив хорошие тапочки Самохина, купленные за два дня до этого в военторге. И утикал. Одеться он успел, а вот чоботы свои надеть времени ему не хватило.

И с утра Самохин протрезвился и вместе с одним еще из политчасти они стали шукать, чьи это могут быть сапоги. Потому что на них была бирка танкового полка, но, как известно, танкисты таких больших размеров не носят. А этот эстонец Гуйдо Видинг хоть и относился к танковой части, но все-таки был киномехаником. И тут замполит Ковалев по телефону спрашивает: "А рядовой Видинг ночевал в расположении части?!" А ему отвечают: "Нет, не ночевал!" Приходят в Дом офицеров, а он себе сидит в радиорубке в чужих тапочках и ждет, пока ему хлопцы из деревни кирзу сорок четвертого размера приволокут. И рядом бутылка буряковой самогонки стоит. А это такая зараза! Пил бы он хлебную - никогда бы так глупо не попался.

Глава седьмая. ФОТОГРАФ.

(до конкурса пять с половиной месяцев)

С утра приперся фотограф, увешанный тремя камерами, и начал передвигать меня по комнате.

- Слушай, парень, - спросил я его, хоть я давно уже решил ни у кого ни о чем не допытываться, но слишком по-свойски он начал поворачивать мне ухо и вдвигать меня в камеру. - Ты для кого снимаешь, для газеты или для старика?

Он посмотрел на меня оловом, но ничего не ответил, откашлялся и с ненавистью повторил: "Будем снимать, будем снимать!"

- Не бойся меня, - торопливо зашептал я, хватая его за куртку. - Я тут сижу

один, почти ни с кем не общаюсь. Редактирую какие-то шедевры про яйцистого Кико, и они уходят в неведомый путь. Скажи мне, есть газета или нет, я хочу видеть результат! Меня все держат в неведении.

Он ничего не отвечал и продолжал безостановочно снимать. Я сидел в кресле и жмурился от фотовспышек.

Уже уходя, он громко спросил меня:

- Хочешь выпить? Когда ты прерываешься? Приходи в два часа в "щель".

- Спасибо, - ответил я и благодарно поморгал ему глазами, - меня давно уже никто не фотографировал, даже на пропуск. Было очень здорово.

В течение дня ко мне навевались несколько младших переводчиков и парочка местных авторов. Я их путал. Кажется даже, что они приносили один и тот же текст. Фамилия одного из них была Местечкин из Риги. Он явился в самом конце работы, и пока я читал, стоял, как демон, над окном, собираясь взлететь.

- Нет, - сказал я, - все-таки нет.

- У меня пять опубликованных вещей, - сказал он, презрительно оскалившись, - Андрей Дормидонтович их знает!

- Вот и посылайте прямо ему. Вы, видимо, очень талантливый человек, но пишете вы очень невнятно. Более того, невнятицу вы превращаете в прием. Прошлый раз я думал, что это случайность, а сейчас я вижу тот же дребезжащий кусок, но только более вылизанный.

Писатель из Риги ушел, хлопнув дверью, а я вдруг почувствовал, что превращаюсь в гниду Писарева. Я ощущал в себе тягу к просветительству. Я искренне хотел научить писать Григория Сильвестровича и несколько раз объяснял ему, какое у него будет удовлетворение, если он сам напишет свой "Русский романс", без посторонней помощи. "Каждый сам должен написать свой роман!" - повторял я ему при каждой встрече, но Григорий Сильвестрович ссылаясь на редакционные дела и в руки не давался. В очередную пятницу, когда я столкнулся с ним на лестнице, он куда-то спешил. Он меня осмотрел критически и спросил: "Ты куда?" - "Проветриться". - "Ну, сходи. Зайчик тебе звонил?" - "Да, но нельзя печатать, там написано "мясо женщины", лучше перепечатывать Мериме". - "Подумай еще". Иногда Григорий Сильвестрович спорил, но я всегда мог настоять на своем. Если удастся усадить его за стол, то может получиться настоящий хамский писатель, как Лютер. При всей его циничности у него имелись идеалы, я это отчетливо слышал. Называет себя масоном-кровником. Кстати, я слышал по московскому радио репортаж о переписи русских за границей. Было несколько методов проверки, могло ли это быть рукой Москвы.

Я вышел на Яффо. В узком месте, где работали норвежцы-гранитчики, конная полиция проверяла документы у нищих. Я потрогал, на месте ли мой значок прессы. Собственно, не я придумал этот мир, и он мне нравился таким, какой он есть. Даже работа в редакции не надоедала, но я хотел увидеть хотя бы один номер, чтобы убедиться, что это не мистификация. Я надеялся, что удастся выпросить у Сеньки свежий номер газеты. Но когда я заглянул в "Таамон" - он был уже сильно пьян и сразу стал на меня орать.

"Ты меня под монастырь не подводи! Тут шутки не шутят, это Конгресс!"

Я перестал бояться этих слов. Мне казалось, что сегодня я выужу из него правду. "Пойдем ко мне пить, тут не поговорить, - сказал я, - или к тебе". "Хочешь, покажу тебе свою студию?" - хвастливо предложил он. Студия действительно оказалась шикарной: белые стены, юпитеры и обшитая бархатом римская сцена. Я слушал вполуха его болтовню: "Надо бы поговорить, ты парень искренний, но ты не должен подставлять свою голову, ты подписку давал? Нет? Тем хуже, мне ведь тоже душно. Ты думаешь, что все чисто. Конгресс и все такое прочее - ты Сеньку спроси. Сенька тебе скажет. Сене нечего скрывать - Сеня чист как стеклышко", - он шептал, оглядываясь по сторонам. - "Хочешь, я тебе еще закажу?"

- Мы дома!

- А-а! - он передернулся. - Я хочу верить, что все чисто, но для этого я слишком долго знаю Гришку, и он держит свои волосатые руки на моей шее. Захочет и в следующую секунду перекроет мне кислород. И есть большая тревога. Еще по грамулечке? Что ты меня про газету пытаешь? "Хроники" откроются в день "Д", когда русский язык станет вне закона!

Его шатало, и он безостановочно говорил, но направлять разговор в нужное русло мне не удавалось.

- Черт меня дергает болтать! Но тебя я вижу, ты парень непутевый, не перебивай! Ты никогда ничего не добьешься в жизни, это я тебе от сердца скажу. А Гришку я знаю вот с таких лет. Ты думаешь, он всегда таким гоголем ходил? Швед? Король Густав? Я видал таких шведов. Когда я его знал, он работал сантехником в жилконторе. Натуральный сантехник-интеллигент. И еще чего-то пописывал, но слабенько. Такой был вылитый Ноздрев, который работает в жилконторе и пишет маслом. Я не говорю, что совсем без таланта, - да ты меня не слушаешь?!

Я действительно повернулся к нему спиной и рассматривал фотографии.

Готовых макетов "Хроник" у Сеньки не было, а самые страшные признания про Гоголя и Ноздрева действовали мне на нервы.

Вся стена лаборатории была завешана женскими портретами.

- Это твои?

- Угу, - сказал он сонно, - Сеня есть художник гадоль. Выбирай, монах, какую хочешь. Девочки специально для кельи.

- Хорошо, - довольно согласился я, - я возьму вот эту. Повешу над письменным столом и буду вдохновляться.

Сеня уже не слышал, он спал.

Глава восьмая. ДОКТОР ЖИВАГО.

Киносценарий из неопубликованного архива "Иерусалимских хроник"

Сначала очень долго длинная белая рука с вытянутыми холеными пальцами надевает на ногу чулок. Это Лариса. Нога тоже очень длинная, и кажется, что этот процесс никогда не кончится. Зрителю понятно, что это женщина высокого класса или проститутка. К себе она относится с большим вниманием. Кроме ажурных чулок, у нее два чемодана с прокламациями и еще два чемодана вечерних туалетов, которые она все время переодевает. Дело происходит в товарном вагоне, но кругом такое количество топких болот и за ночь все заматывает снегом, что становится ясно, что она едет в Сибирь. Минут десять товарный состав идет через густую тайгу, все это время она ворочается на нижней полке в очень дорогом бордовом пальто и пытается уснуть. Иногда показывают четыре кожаных чемодана с прокламациями, и кажется, что, пока она спит, их могут украсть или они обязательно свалятся с верхней полки ей на ..., но, во-первых, поезд идет очень плавно, а во-вторых, кроме нее и чемоданов еще не показали ни одного человека, и красть их у нее совершенно некому. Даже кажется, что нет машиниста. Но поезд все равно идет. Потом ей удастся немного заснуть, и не исключено, что вообще прошло много суток, потому что пейзаж резко меняется, и Лариса чувствует резкий толчок в бок. И открывает глаза. Это довольно молодая женщина лет под сорок. Может быть, ей лет двадцать восемь, и она просто немного измождена и все время подкрашивает губы. Она открывает глаза и смотрит на чемоданы. Чемоданы все на месте, но ясно, что ей нужно выходить, что она у цели, но по узкому коридору за одну минуту всю эту гадость ей не протащить! Но она довольно споро выкидывает их из вагона, садится на чемоданы сверху и закуривает.

Выясняется, что она знает французский, потому что, когда она видит, в какой глуши среди болот ее высадили, она начинает пребойко ругаться по-французски. Между рельсами стоит очень узенькая станция "Варыкино", даже не станция, а такой домик "испанским сапожком". В полумраке на втором этаже маячит чей-то силуэт. Это какой-то доктор. Неожиданно рельсы вокруг Ларисы начинают со скрежетом двигаться. Кажется, что в следующую секунду ей прищемит ногу. А у нее очень тонкие лодыжки и красные туфли на высоких каблуках, на которых она привыкла ходить. Очень насыщенного красного цвета, просто очень, почти бордовые. Наконец из дверей станции Варыкино выходит доктор в резиновом плаще, в руках у него двустволка. Но сразу видно, что это не доктор, а настоящее чучело. На Ларису он не обращает ни малейшего внимания и по-французски ничего не понимает. Может быть, даже вообще ни на каком языке не понимает. У него очень длинные лошадиные зубы, и видно, что он почти никогда не моется, то есть он тут, в Варыкине, совсем одичал, и у него на мытье нет времени. Потом он начинает краешком глаза осматривать край ее платья и чулки.

Чулки очень красивые, но их почти не видно, потому что подол ее платья все-таки прищемило рельсами. Доктор неожиданно вскидывает ружье и метрах в полутора от нее убивает довольно крупную крысу. Лариса начинает визжать и кричит по-французски: "Юрий, вы скотина!", но он поворачивается и уходит. В этот момент начинается метель. Доктор вернулся к себе в сторожку ужинать, а Лариса сидит на чемоданах, погруженная в свои мысли. Снег минут за семь совершенно заносит все пределы - и чемоданы, и рельсы, и холм, и весь этот железнодорожный узел. Но она сначала этого не замечает, усмехаясь своим мыслям, а потом страшно замерзает в своих княжеских перчатках и идет с отвращением стучаться в сторожку. Ей никто не отвечает. Доктор ужинает. В сторожке довольно темно. На столе горит свеча, и Лариса осторожно туда входит. Очень воняет керосином, но керосиновых ламп при этом нигде не видно. На стене висит диплом зубного врача, сам Живаго ест какую-то страшную бурду, поливая ее время от времени отвратительным бурым сиропом. Так что Лариса не может смотреть на это без содрогания, избалованная французской кухней, но доктор ничего не предлагает, только изредка стреляет поверх ее подола и снова берется за ложку. После каждого такого выстрела под кровать сваливается мертвая крыса. Но Лариса уже ничего не кричит. Она медленно стягивает с рук лайковые перчатки и начинает греть ладони над шестиугольным алюминиевым чайником, который кипит на круглой печке. Печка напоминает дореволюционную буржуйку. В это время доктор достает из-за пазухи механическую канарейку, с которой он умеет разговаривать, и начинает гладить ее по голове. И видно, что у этого доктора, в принципе, доброе сердце. Так Лариса поселяется в этой сторожке. Сначала она спит, сидя в красном пальто, и не ест. Но на четвертый день она уже начинает есть и стелит себе чистые простыни в прихожей. Голод не тетка! Видно, что им не о чем разговаривать, но иногда она, забывшись, называет его по имени. К середине фильма появляется еще один герой - это почтальон Комаровский. Почтальон сразу же хочет ее изнасиловать и пишет на Живаго донос, что у него в железнодорожной клинике живет посторонняя женщина, а это категорически запрещено Наркоматом путей сообщения. Видно, что он не слишком культурный. Комаровский привозит доктору зарплату, которую Живаго прячет на антресолях. Но новая порция денег на антресолях уже не помещается, потому что все шкафы набиты бумажными деньгами, по которым шныряют крысы. Хочется, чтобы Лариса набила этими деньгами четыре своих чемодана и скорее уезжала оттуда в Москву, тем более, что снег давно сошел и она вместе с доктором собирает красную смородину и делает из нее банки с "витамином", которые стоят на всех стеллажах. Половые отношения между героями никак не завязываются, хоть доктор иногда подсматривает в щелочку, как Лариса переодевается во французские платья, а один раз входит к ней в прихожую абсолютно голый. Но ближе к весне доктор, как "Дафнис и Хлоя" в переводе Мережковского, начинает очень интересоваться своими половыми органами и два раза задирает Ларису юбку. В конце фильма показывают короткий половой акт перед самым ее

отъездом за границу. Ларисе все к тому времени надоедает, и она, наконец, решается уехать, хоть идет гражданская война и поезда давно уже никуда не ходят. Комаровского, который оказался провокатором, они, посоветовавшись, застрелили из ружья. И сама станция тоже быстро приходит в запустение и ржавеет. Но вот снова зима, и все опять впервые. Комаровского они несколько раз перепрытывают под снегом в огороде. Половой акт, кстати, довольно короткий - всего минуты четыре. Лариса сидит на станционном комодике и обнимает доктора за узкие плечи. Живаго очень доволен и все время чего-то бормочет. Лариса смотрит на него с комода с сочувствием, но постепенно тоже немного увлекается. Вообще, она относится к этому зубному врачу совсем по-матерински и даже делает ему пирог из смородины. Кончается фильм тем, что Лариса снова сидит в вагоне и думает, в какую страну ей податься, а доктор Живаго совсем дичает. Он приносит к себе в сторожку два кубометра мха и дерна, обреченно ложится и начинает покрываться серебряной паутиной.

Глава девятая. ПОЧВЕННИКИ.

(До конкурса пять месяцев)

Ночью мне снилось море. Сон был длинный, нескладный, я плыл куда-то по звездам, тонул и проснулся совершенно разбитым. Вахтер Шалва проверил сумку на взрывчатку. Четвертый кабинет по коридору, Шкловца, открыт. Шкловец выходил мыть руки. Арьев вернулся, но со мной не заговаривал. Симпозиум начинался в девять, но Григорий Сильвестрович велел обождать в кабинете, пока меня позовут, и переодеться. На столе в моем кабинете лежала пижама, шорты, белое борцовское кимоно и довольно крепкие кеды. Сверху лежала записка от Барского "Обязательно переоденься". На лестнице я заметил несколько человек, не израильтян и не американцев, но все были прилично одеты. Я посидел у себя и попытался объемно ощутить, что же им можно сказать. Сразу такому количеству писателей. Кеды немного жали, даже пришлось снять носки. Можно было пойти в своих ботинках, но я не хотел, чтобы из-за таких пустяков Григорий Сильвестрович начал мне выговаривать. Наконец меня вызвали колокольчиком.

В конференц-зале стояло пять рядов кресел, и в пиджачных тройках сидело человек сорок. Работал кондиционер. Все сорок сидели, вцепившись в стулья, и молчали. Я сначала подумал, что они замерзли и не дышат, но все дышали нормально. Григорий Сильвестрович наорал на фотографа, что тот снимает с треноги. Он не любил, когда снимали с треноги. Он закончил и представил меня. "На английском?" - шепнул я. Но он скривился и сказал громко, что они не понимают. Совершенно было непонятно, зачем же он меня так вырядил. Достаточно было и простых джинсов, чтобы я отличался от них, как киевское "Динамо" от московского. Они разглядывали меня в каком-то полусне. Мне следовало для затравки завывать или кого-нибудь

укусить, но я боялся переборщить. Свои соображения я давал им минут двадцать. В основном я сказал, что я, пардон, недавно, еще не все материалы видел, но я чувствую, что мы делаем не то, что требует от нас Андрей Дормидонтович Ножницын. Что ему не нужна газета как газета. Ему нужна газета как обращение к вождям, как напоминание о страшной русской тайне! Каждый номер должен быть историческим. Нобелевскую коронацию нужно рассматривать как лабораторный опыт! Мы должны понять, в каком направлении идем. Распыляться уже нельзя. То есть вся газета может быть о чем угодно, но она должна быть подчинена нобелевской идее и в центре ее должен стоять Менделевич. И, конечно, Андрей Дормидонтович. Нам нужна антиструктура по отношению к газетам Запада! Чтобы не вспугнуть американцев раньше времени, создать для них кабацкую опереточную Россию, наполнить ее клюквой и брюквой, и в центре этого огорода на хрустальном рафинированном английском языке подавать Михаила Менделевича. Он не должен быть похож на гения. Он должен быть похож на американца! На фоне трехрядных гармошек и мужицкой вони это должен быть случайно родившийся в России - на окраинах, в турецком ауле, - но все-таки американец! Нужно ввести специальный тест на идеального американца, но Менделевич щелкает эти тесты как орешки! Он - первый имперский еврей, запретивший себе писать на русском, он опередил свое время! И вся кухня должна быть перед читателем, нужно сообщать, сколько у Менделевича волос, чем он бреется, нужно, чтобы видели, что средний человек может раздуть свой талант до немыслимого блеска! Но только если этот человек прост, если он не пытается стать выскочкой, а просто ему приходят в голову дремы на турецком языке и он, как может, пытается их записать. Не надо цинизма - американцам он претит. И нам не нужно мнений записных советологов - пусть каждый составит свое мнение сам! Мы должны дать читателю такие факты, чтобы всем становилось ясно, что в варварский топкий край на краю Земли, к голодным мужикам с гор спустился в кремовой тройке изысканный турецкий поэт - и они его не признали!

Слушали меня плохо. В какой-то момент я понял, что совершенно неважно, о чем я говорю, - меня эти ребята не понимали. Менделевича, видно, тоже никто не читал. Я сказал им о двух основных правилах английской журналистики, я сказал о законе второго абзаца - никто не шелохнулся, никто не повел бровью. Я начал рассказывать о битве при Ганстингсе, но прервался на полуслове и вышел в фойе к Григорию Сильвестровичу. Он сидел за столиком рядом с Сенькой и пил английское пиво.

- Что это за люди? - спросил я, взяв его за руку.
- Цвет русской литературы, - ответил он рассеянно.
- Как же их фамилии?!
- Никифоров! Сморыго! Слышали? Хмурый-Перевозчиков!
- Нет, никогда не слышал! Где вы их берете?! - спросил я, чуть не плача. - Что это за люди такие?

- Разные люди. Лагерники есть. Бытовики. Мемуаристы! Почвенники. Разные.

- Аксенов тоже тут?
- Да, кажется, по списку есть. Я не всех знаю в лицо. Сейчас придут командировочные удостоверения отмечать. Какая тебе разница?
- Если вы действительно хотите делать газету, всех надо менять! Эти очень вялые, - бросил я с раздражением.
- Ну и поменяем, - лениво сказал Григорий Сильвестрович, - только ты не нервничай так. Переведем этих на Би-Би-Си, а то там одно бабье собралось. Пошли Арьева в Москву, и он наберет там новых, чего ты раскипятился. Да, вот еще что, через четыре дня ты везешь в Румынию первую группу. Зайди попозже, я проведу инструктаж. Андрей Дормидонтович сердится, говорит, что больше откладывать нельзя. Поедешь вместе с магистром. Ответственность осознаешь?
- Осознаю, - отмахнулся я, - Григорий Сильвестрович, кончился ваш симпозиум? Можно, я кеды сниму? Очень жмут.

Глава десятая. ПРЕЙЗ ЗЕ ЛОРД.

- Что же вы не приходите молиться? - спросил пастор. - Хвала Господу, мы еще здесь, Прейз зе Лорд!
- Мне передали, чтобы я зашел, - сухо ответил я.
- Вы помните русского, которого я вам представил? Он так и не возвращался за своими вещами!
- Он спит в земле сырой! - сказал я по-русски.
- Посмотрите, здесь его портфель и сеточка с консервами.
- Он умер, - повторил я.
- О, май Лорд! Тогда вещи нельзя трогать. Может быть, есть наследники? Я отдам все в полицию.
- Вряд ли у него могут быть наследники, но дайте я взгляну. Пока я рылся в бумагах, пастор вздыхал и неодобрительно мялся.
- Итс нот гуд. Почему вы не приходите вместе молиться? - наконец пробормотал он. - Почему у русских такая привычка не уважать чужие законы?!
- Документов в портфеле, видимо когда-то принадлежавшем Григорию Сильвестровичу, было великое множество. Какие-то отчеты о проделанной работе, переписка старца Ножницына с ковенским Гаоном, чьи-то крошечные фотографии с комсомольских билетов. Я улучил момент, когда пастор отвернулся, и часть бумаг сунул к себе за пазуху. Чековые книжки, из-за которых беспокоился пастор, оставались лежать на самом видном месте.
- Нельзя разглядывать чужие документы! - строгим голосом сказал пастор. - Господь не одобряет разглядывание. Тем более, что я тороплюсь.
- О'кей, о'кей, - поморщился я, - бегите прямо в полицию. Господь будет счастлив!
- Правильнее было не рисковать, ничего домой не брать и все прочитать тут,

но настаивать было неудобно. "Год блесс ю, - сказал пастор, - смиряйте свою гордыню!" Я ушел как оплеванный. Дома я тщательно запер все двери и, сидя на ванне, осмотрел свою добычу. В основном были две резолюции Конгресса о святом языке, которые я пробежал глазами и тотчас же сжег. "...закрыть все русскоязычные издательства, газеты, журналы за пределами Руси... двенадцать миллионов носителей русского языка должны пройти языковую переориентацию... перейти на язык иврит... должны отказаться... нобелевский конкурс - это последнее разрешенное мероприятие на русском языке перед великим днем "Д"... русский язык - это не язык праздного общения... которые пишут на еврейском диалекте русского языка... просить местные власти..." Вторая бумага была об уточнении границ Восточной Руси, со столицей в Казани, и Западной Руси, объединенной вокруг Москвы. Ничего особенно нового - все это я уже слышал от Григория Сильвестровича. Пепел я на всякий случай утопил в туалете. Перед сном я выпил водки, чтобы успокоиться. Водка была уже объявлена нееврейским продуктом, но в редакции стоял целый ящик "Василисы Прекрасной", и я понемногу отливал себе во фляжку. Все закроют! "Круг" закроют, "Время и Мы" закроют! Бедный Перельман! Бедный Рафа!

Глава одиннадцатая. ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА ЦАРЯ ДАВИДА.

В назначенный час я доехал старым рейсовым автобусом до аэропорта в Лоде, спокойно донес чемодан до дверей, взял багажную тележку, и вот, в тот момент, когда двери стали передо мной разъезжаться, я вдруг ощутил знакомую сладкую продрому и животом почувствовал, что сейчас пойдет текст. Дверь аэропорта раскрылась и закрылась, и я очутился в полутемной спальне, пропахшей пчелиным воском, на который у меня аллергия. Я увидел, что нахожусь в толпе вооруженных бородатых мужчин, но на меня никто не обращал внимания. Постепенно глаза привыкли, и я разглядел на кровати крупную молодую женщину, полуженщину, розовую телку, с ужасом глядящую по сторонам. Рядом с ней сном праведника спал старый благообразный подагрик. Какой к черту может быть секс в такой холод. Кажется, работали все кондиционеры. В дорогу мне следовало одеться потеплее. Вслух разговаривали две женщины, но сами слова ничему не соответствовали. Занимались физикой ядра. Постепенно я докрутил до названия. "Ависага". Драма в двух действиях. Старик проснулся, поднял голову и что-то пробормотал. Мужчины со свечами с досадой переглянулись. Это было похоже на закопченную фреску "Охота на диких слонов". Все мужчины были вооружены до зубов, а слоном был не я. Слоном был голубоглазый старик, который все время спал, и еще нежная женщина, в которой можно было растаять. Какой физикой ядра? Он всю свою жизнь пас овец. Потом Голиафа камнем как треснет! Сам удивился. Голову хрясь, отсек. Лежит, как бревно, думали, что кукла. Кровищи - море. Меня чуть не вырвало. Ты чего здесь делаешь? Я здесь живу. Как тебя зовут! Пи эр

квадрат, деленное на два. Это что? Нет, просто в голову пришло. Очень он все-таки старенький, даже светится. Она его на руках носит. Здоровая девка, толстая. Нет ничего отвратительнее старости. Одевайся, милочка, озябнешь. Черт знает что, ходишь как оплеванная. Лучше бы он меня трахнул. Не отвлекайся. Ни одной красивой бабы, такие все занюханые. Имбридинг! Холодина! Вот и сосок весь заиндевел. Молчали бы уж. В тазике помойся. Разбежался! Лучше бы чулки новые подарил, скопидом! Я еще среди живых? Непонятно. Народец, по правде сказать, дрянь. Матка боска чистоховска! Почему яички брали? Приземлился афинский самолет. Я запрокинул голову кверху, но ничего не увидел, потому что в спальне не было окон. Когда я приземляюсь в Израиле, мне кажется, что я иду на посадку в преисподнюю. Потом это чувство становится менее острым и проходит: придорожные пардесы начинают пахнуть карамелью, и мне нравится, что в преисподней трава, что по лугу идут кибуцные коровы и под музыку что-нибудь неторопливо жуют. Так спускаются вместе с Садко на морское дно, к кривоногим зеленым русалкам. Но сейчас я не приземляюсь, сейчас я убираюсь отсюда в тыл. И тогда все во мне начинает звенеть. Я каждый раз не готов к тому, что это может со мной случиться, что на ходу мне придется писать эти идиотские женские диалоги. Я продолжал брести по спальне в поисках карандаша. Невозможно приготовить. Я вытащил из мусора свежую газету и стал писать на полях. Голосов было два. Все-таки оба женские. Это был не совсем тот текст, который я заказывал: он был не из царской пещеры, а из молочного кафе. Я заказывал про спящего старика и растерянную девочку, я заказывал про сверкающие в полутьме глаза, про то, кому достанется этот ребенок женского пола, если старый царь так и не надумает проснуться. Дареному коню... и так далее. Бери уж чего есть. Я пишу на газете, на сигаретах, на спичках. Я пишу. Все время слышатся танцы. Танцы. Балерина кордебалета ушла на пенсию. Царь в костюме. Он танцует. Есть период мужской доминанты, а есть период женской. Это из притч. Бабе сорок лет, неудавшаяся балеринка. Ни мужа, ничего. Царь все танцует сам. Не пропустил ни одной юбки. Зови меня просто Бат-Шева. Привезли, наконец, в буфет эскалопы или нет? Мне было четырнадцать годков, ты понимаешь, четырнадцать? Кто меня спрашивал? Соломона я родила в семнадцать. Знаешь, я тоже когда-то была девственницей! Насколько я в этом разбираюсь, случайным людям эту процедуру никто не доверяет. Что же мне делать? Займись фольклором, топотушки записывай. Может, на кафедру возьмут. И еще было десять шлюх, он их даже не брал на гастроли. Ты поверишь, он с ними даже фотографироваться брезговал. Вирсавия Элиамовна, а кем вы все-таки забеременели в четвертый раз? Спектакль окончен - дальше все актеры живут нормальной жизнью. Мне в этом году исполняется тридцать, считайте, что старуха... я уже тела своего стала стыдиться. Это был эстет, мэтр высшей пробы, с потрясающим вкусом. Либо ты погибаешь - либо ты торжествуешь. Это императорский театр. Красный плюшевый диван, о нем ходят легенды. Царь мною не пренебрег! Уж хоть вы-то должны понимать, что он меня испугался. Соломон

Давидович человек мирный, трон его высоко. Шурка Соловей с нашего двора хвастался, что у него было сто баб. Мне нечего жаловаться, нормальная квартира. Я не успевал переваривать проходящий поток слов. Еще бы не забыть и успеть запомнить, что за крыша, что за небо над этим местом, где меня на время освобождают от Израиля. Чудная девушка, тело поет, такие рождаются раз в пятьдесят пять лет, надо видеть, как она воспринимает комбинацию. Теперь нужно было не суетиться, а как ни в чем ни бывало пройти досмотр, чтобы меня не отвлекли и не сбили, чтобы чудесные бирюзовые девочки на контроле не заметили, что я выполз из кожи, и даже не вздумали проверять меня на наркотики. Посвященная, профессионалка, каждый день напряженная работа. Воздушная охранница с розовыми обкусанными пальчиками, молодая бамбуковая израильтянка, только еще поднимающаяся по иерархической лестнице прекрасного (дочери фараона такой домище отгрохал - позор!), на пролетах и плечиках которой держится вся египетская пирамида международной авиации, самого выверенного, неземного уровня красоты, не сказала мне ни слова, ни полслова, не заставила копаться в саквояже, и мне оставалось еще пару минут таможенных формальностей. Дальше нужно было безотлагательно выпить хоть одну каплю нормального европейского коньяка, чтобы не мацерировать растренированный светский мозг. Умная сухая старуха, готовит и ест сырую рыбу. Речную. Можно карпа. Кусок сырой рыбы с соевым соусом. Для такой непостижимой балетной высоты он танцует страшно мало. Я раздвинул локтями замешкавшихся передо мною людей, оттолкнул грустного чилийца с бабьим нееврейским лицом и одинокой серебряной серьгой и волнистую лошадку моего роста с парижскими наклейками на чемоданах... Ависага из Шунама, колено Исахара - молодая женщина-неврастеничка. Я вам не памятник. Хочет активно трахаться. Рожать. Появились седые волосы. Целыми днями сидит она у черно-белого телевизора. Мигрени и депрессия. Бывшая секретарша царя Давида. Соломон Давидович Евсеев - высокий холодный красавец. Поэт, математик. Член-корр с двадцати шести лет. После смерти отца руководит большим балетным театром. Период романтизма выдвинул женские роли - возьмите Жизель! Знаешь, когда нет ничего, кроме балета, - это тоже плохо. Сегодня последнее выступление, послезавтра пенсия. Закрыв за собой дверь, и вся оставшаяся жизнь пошла в одних отголосках. Меня несло дальше вверх, и еще минут через шесть я, навсегда никому не должный, сидел и писал за столиком в затемненном баре, в своем покое. Вы нищие, вам нельзя много рожать. В старости он стал все больше походить на породистого еврея. Давид Евсеевич - благородный человек, пылкое сердце. Конечно, в большом почете, все-таки основатель и премьер нашего балета, одно слово - царь. И материально стало получше, но в первом браке больше чувствовалось, что в доме есть мужчина. Царь мог за раз сожрать курицу и целый килограмм мороженого. Многие кордебалетные, выходя на пенсию, просто идут в миманс. Царь женился на женщине моложе его дочки. И внучки. Из-за этого отношения с родными у него очень испортились. Исторически его можно понять - это высшая мудрость! Благо

государства, благо народа Израиля. Удружил мне ваш сынок. Евреек он не любит. Жалуется, что неженственные; пахнут. Как будто аммонитянки не пахнут. Какой-то кентавр - полускотина, получеловек. И другие балетмейстеры ему в его театр не нужны. Говорит, что у него хватает собственных идей. В этой обстановке нужно уметь вариться. Кастовость просто безумная, и все время идет болтовня о бабах, прямо как в ПТУ. Зрелый физик - это двадцать два года. А к тридцати годам уже нужно закругляться. Кровать была десять на десять. Это замечательно, когда хобби совпадает с профессией. Вахтера не было, кто хотел, тот и входил. И все это было стояло возле нашей кровати и изощрялось в островах. Стоп! Занавес!

ПЬЕСА

(должна быть очень короткой)

БАТ-ШЕВА *(она же Вирсавия)* - вдовствующая царица. СОЛОМОН - ее сын, царь.

АВИСАГА ИССАХАРОВА - молодая женщина, временно нигде не работает.

АКТ ПЕРВЫЙ

(Бат-Шева и Ависага встречаются в кафе)

АВИСАГА. Представляете себе, вы в постели со своим дедушкой! И он засыпает прямо на груди.

БАТ-ШЕВА *(отвечает все время равнодушно и невпопад)*. Не хаами!

АВИСАГА *(взволнованно)*. Нет, научите меня, как жить!

БАТ-ШЕВА *(сквозь зубы)*. Ты не понимаешь масштаба этих людей! У тебя взгляд с дивана. Какая разница, каков он в быту - ты посмотри, как он танцует!

АВИСАГА. Но чтоб столько девок хороших перепортить! Приходят воробышки, все светятся, через два года уже с брюхом. И все наспех, наспех - настоящий кролик.

БАТ-ШЕВА. Такая профессия: на личную жизнь не остается времени.

АВИСАГА. Мне статус бы какой-нибудь выхлопотать...

БАТ-ШЕВА. Я же тебе говорю: твоя ошибка, что ты воспринимаешь их как нормальных людей! Ни с мужем, ни с сыном я чаев не гоняла! У царей личных отношений с людьми не бывает. Парочка живущих гениев - вот и все их собеседники.

АВИСАГА. Вирсавия Элиамовна! Познакомьте меня с кем-нибудь из своих!

Вы посмотрите, какая грудь! Да не отворачивайтесь вы!

БАТ-ШЕВА *(шипит)*. Перестань немедленно устраивать балаган, люди смотрят!

АВИСАГА. Да черт с ними, с этими халдеями! Не посмотрите - сейчас разденусь догола, завтра утром будет во всех иерусалимских газетах!

БАТ-ШЕВА *(примирительно)*. Ты должна учиться правильно дышать.

Занимаясь дыханием, ты уменьшаешь потенциал зла.

АВИСАГА *(шепчет)*. Слушайте, он такой лицемер! Я понимаю, что избранник; но ведь так коварно Иоава Церуева сгубил!

БАТ-ШЕВА. Молчок! В общественном месте об этом разговаривать не

принято. Во-первых, не сгубил, а во-вторых, тот тоже хорош. У нас цивилизованное общество - сколько можно цацкаться с уголовниками?! Хочешь, я тебе диету пропишу? Ты потолстела!

АВИСАГА. Потолстеешь тут! Питаешься на ходу всякой дрянью...

БАТ-ШЕВА. Квартиру-то тебе дали? Пригласи посмотреть.

АВИСАГА. Если б квартиру! Дали уголок в старушечьем общежитии. С начала года уже четыре раза приходили уплотнять.

БАТ-ШЕВА. Главное качество сына - это гуманизм. Для всех он отыщет минутку...

АВИСАГА. Именно минутку! Хотела бы я знать, когда он пишет притчи! Да и отец не лучше...

БАТ-ШЕВА *(не слушает ее)*. Настоящий ученый никогда не "работает". Во всяком случае этого никто не видит, это неприлично. Эйнштейн катался на лодке и там придумал все, что ему было нужно.

АВИСАГА. ...проходит утром в ванную, потом ему греют котлетку. Старые жены давно глухие. Он им бормочет: "Удивляюсь, что вы еще не подохли!"

БАТ-ШЕВА. Хватит тебе ныть. Нечего было к старику в секретарши проситься. Царицей стать захотелось!

АВИСАГА. Так вы замолвите за меня словечко?

БАТ-ШЕВА. Постараюсь. *(Уходят)*.

АКТ ВТОРОЙ

(Соломон сидит на троне, рассматривает себя в зеркале.)

СОЛОМОН *(свите, наставительно)*. Волосы из носа вырывать бессмысленно - они все равно вырастают *(машет рукой)*. Ладно, принесите мне золотой пинцет. Ну, что там еще?

ВАНЕЯ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ *(громко)*. Матушка ваша пришли!

СОЛОМОН *(вздыхает, свите)*. Такая настырная старуха, нет житья! *(Вошедшей Бат-Шеве)* Мама, зачем вы опять притащились?

БАТ-ШЕВА *(робея)*. Соломон Давидович, вслух как-то неудобно!

СОЛОМОН *(раздраженно пожимает плечами)*. Что за тайны мадридского двора?! *(Свите)* Разберитесь, чего ей надобно! Если ей неудобно вслух, пусть она вам напишет!

(Все смеются. Бат-Шева укоризненно улыбается. Уходят.)

СОЛОМОН. Наконец какая-нибудь сволочь принесет мне золотой пинцет или нет?!

АКТ ТРЕТИЙ

БАТ-ШЕВА *(читает вслух по-арамейски)*. ...пожизненно почетной вдовой, без права на выезд. Чего ты еще хочешь?

АВИСАГА. Я не вдова!

БАТ-ШЕВА. А кто же ты?

АВИСАГА. Я замуж хочу...

БАТ-ШЕВА. Ишь, чего захотела!

АВИСАГА. ...пусть хоть за себя возьмет.

БАТ-ШЕВА. А на это он просил сказать, что на кровосмешительство он не пойдет, в смысле осквернять отцовскую постель. Сама должна понимать!

АВИСАГА (*визжит*). Какое кровосмешительство! Какую постель! Мадам, я - девственница! Вирго. Есть свидетельство экспертов!

БАТ-ШЕВА. Да не ори ты так противно! Нашла чем хвастать.

АВИСАГА. Я даже не решаюсь спросить... может быть, он меня любит?

БЛТ-ШЕВА (*резко*). Нет!

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

АВИСАГА (*одна, раздумывает*). ...царь умер. Я - святая...

До самолета оставалось еще минут двадцать, и я наспех набрасывал на салфетках текст, которого раньше не было. Меня, царя Екклезнаста, обвиняла ногами балерина кордебалета из Моава. Я склонялся перед медными идолами, я рисковал вечностью из-за земной женщины, из-за тонконогой военнотружущей местной армии. Я медленно старел на троне и забывал моего Бога из-за молодых суетных шлюх. Лучше бы к матери в Воронеж съездил, а не в Израиль. Второй раз объявили посадку, но, кажется, я уложился. Я расслабленно возвращался в себя, хорошо бы сейчас еще принять душ и вытянуться. Он не еврей, он-балетмейстер, он гражданин астральной системы, но ужасный зануда - даже "мусорные" ворота и те на семи замках.

Наконец я расплатился и пошел искать, где по долгу службы меня ждал связной и мои михайловцы. Адония-кандидат наук, старший брат Соломона по отцу. Кончил вечерний институт на "отлично", но способностям Соломона всегда завидовал. Слабый и добрый человек. Любит Ависагу. Велика беда - полежала пару раз со стариком на кокемитовом диване. С кем не бывает. Крещенский мороз в кабинете. Деда невозможно было согреть. Стоп. Наваждения кончились. Я заметил, что толпа перед воротами почти рассосалась, оставалось семеро мужчин в одинаковых драповых пальто и две женщины. Одна из них - это сам "Конгресс". В этот момент я с ужасом обнаружил, что связная "Конгресса" на месте, но я забыл и пароль, и отзыв. В карманах тоже не было. Наверное, я забыл их на сиденье в автобусе. Вот идиотство какое. Я посмотрел на нее с мольбой и постучал рукой по лбу. Нужно вложить в уста принца Адонии слова, что "женюсь на секретарше отца, я еще не становлюсь директором ядерного института".

- Qui attendez vous? - с неуместным смешком спросила меня связная.

- Там такого не было! Это не пароль! - твердо сказал я.

Меня поразило даже не то, что она ошиблась, не французский язык, не ее пиджак с широкими плечами, а то, что все мои спутники еле держались на ногах и ото всех здорово разило водкой.

- А сам-то ты пароль помнишь? - пробормотала связная.

- Сестер и братьев своих возлюбленных! - тихо проговорил я первое, что пришло в голову.

- Братья в сборе, братья готовы к перелету. Доставайте посадочные талоны и паспорта. Нам пора садиться!

"Ависага из Шунама - это я, - добавила она, пьяным полусшепотом

обратившись ко мне, - в "Конгрессе" меня называют магистр".

Глава двенадцатая. ПЬЕМ БУРБОН.

Полночь в воздухе. Я благоухаю, как розовое варенье. Я уже ничего не хочу. Я пьян. Я полон реалистических дум. Я - Серов. Я - девочка с персиками. Катастрофически тошнит от всего на свете. Я напился в неведомой точке земной атмосферы с незнакомой женщиной, связанной со мной мистической связью. Она тоже не вполне трезва и хочет спать. В известном смысле это вообще не женщина - это мой партийный товарищ, с которым мы делаем одно общее дело для планеты людей. У нее расплющенные губы и какие-то немыслимые чулки с орхидеями. Орхидеи не могут быть знаменем. Но она мне скорее даже нравится, чем нет. Только я не могу придумать, что же ей говорить. У меня парез языка, и я даже не могу по-настоящему насладиться замечательным бурбоном, который мы пьем. Разговор крутится, в основном, вокруг михайловцев. Не о Блоке же нам говорить! Не расколдуешь сердца ни лестию, ни красотой, ни словом. Я вообще не очень люблю разговаривать с женщинами, я их жалею. Но товарищ по партии - это совершенно другое дело. Товарищам по партии - любые авансы. У них даже могут быть расплющенные губы и полная безнаказанность в глазах. И кожа может быть творожно-белой, чего я обычно не выношу. Я все-таки не грузин, чтобы увлекаться этой белизной.

- Ависага, не следует ли нам провести наших братьев? - нетвердым голосом предлагаю я.

- Пошли они на хер!

Это резонно. Но все же я схожу. У меня гипертрофированное чувство долга, не дрова везем, не голландских кур. "Ну?!"

- Слушай, как это может быть: их стало шесть?!

- Так не бывает, - сонным голосом отвечает Ависага, - их семь! Семь невест для семи братьев, семь мушкетеров. Вот квитанция. Сдаем всех семерых - получаем четырнадцать тысяч. Придется нам еще кого-нибудь найти. Ты, кстати, сам не хочешь вернуться?! Там теперь здорово! Виданное ли дело, чтоб Председатель Верховного Совета был попом! Нет? Ну и правильно! Я не собираюсь на тебе зарабатывать. Сходи еще раз пересчитай.

- Теперь их восемь.

- Это невозможно! Какой ты беспокойный! Их ровно семь. Хорошо, я схожу сама. Еле стою на ногах. Действительно восемь. Вот теперь будет мороки. Может быть, увязался кто-то из родственников. И все как один говорят по-русски. А один даже по-древнерусски, открылась какая-то дремлющая программа! Очень странно, даже невероятно странно. Лучше больше не пить. Дай я час посплю, а на земле разберемся.

Глава тринадцатая. НА ЗЕМЛЕ.

Ю А ВЕЛКАМ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. ИНТРАРЕ.

В дверях советский солдат в ушанке. Только румын. И кроме румынского не говорит ни на каких человеческих языках. Бьют стенные часы, уже много лет не били. Похоже на театральное фойе. Сейчас войдет Книппер-Чехова. Есть окошечко информации, но оно за кордоном. То есть понарошку ты еще не в Румынии, но зато у тебя нет никакой информации. Высокие седые офицеры-менты с дверными челюстями. Сразу очень хочется назад в Ханаан. В очереди за визами, кроме нас, стоит много бывших румын и две старушки с золотыми зубами, которые едут на побывку в Черновцы. Две румынки подрались. Солдат с миноискателем нашел у меня в кармане комок салфетки и заставил развернуть. Я вытирал нос, потому что у меня аллергия на румынский запах, и забыл выбросить. Раньше меня никто так подробно не щупал. Я его все-таки поблагодарил и дал жевательной резины. Он ничего не сказал, но резину взял.

- Я с вечера страшно надралась! Надеюсь, я не болтала ничего лишнего?

- Нет, ты была ужасно милой. Секундочку, давай не отвлекаться!

Перед нами в очереди стоит сутулая длинная сефардка в белых чулках. Зовут Кэти. Жуткое страшилище. Такое, что у меня даже сердце заходится от восторга. Она похожа на тель-авивскую манекенщицу, которая жила с негром из "Маккаби". Может быть, даже медсестра. Моя спутница смотрит на нее неодобрительно. Не исключено, что она просто не любит медсестер. Уже третий час стоим в очереди за визами, и еще не было таможни. Четыре с половиной утра. Из окошка с визами бешеный румын кричит "животные", "анимали". Ему не нравится, что румынки дерутся. Можно через кордон не переходить, но что делать с михайловцами. Кроме Румынии от них будет негде отделаться. Крестьянин с сундуком выполз откуда-то. С картины передвижников. Не понимает, где он находится. Этот - не наш. Румын в окошке закрылся. Может быть, навсегда. Устал от свалки. Перед закрытием передразнил михайловцев и обозвал их "жидами". Это не жида-это русские колхозники. В туалетах нет света. В метро нет света. Только бы наши "жида" не потерялись. Офицер в очках. Раз в очках, значит, говорит по-русски. Из генштаба. Может быть, я тоже в прежней жизни был румыном. Сколько же стоят эти сраные лей? Есть номер в гостинице "Октябрьская" на семерых за 1883 лей. Это год смерти Тургенева и одновременно сто девяносто долларов. Но можно платить леями. То есть это два блока "Кента" кингсайз лайт и еще остается семьдесят шесть лей в виде полутора пачек турецкого кофе. Но если платить за румынскую гостиницу турецким кофе, то самим будет нечего пить. Кофе нет. Вообще ничего горячего в районе Литейного нет. Ближайший стакан чая можно выпить в гостинице "Балтийская", если снять там номер. Которого тоже нет, он занят. В молочном магазине нет ничего белого цвета. Это условно-молочный магазин, с пяти часов утра в нем принимают пустые молочные бутылки. Куча атаманских папах и бурок. Видимо, их привозят из Ставрополя. Нужно срочно позвонить Григорию

Сильвестровичу в Иерусалим. Одна минута стоит полтора доллара, или четверть пачки кофе за шекель двадцать, то есть четырнадцать канадских центов. А три минуты составят сорок два с половиной цента - это три четверти пачки кофе или восемнадцать сигарет, и еще остается одна льготная минута - это пятая часть пачки кофе с кардамоном на двенадцать маленьких чашечек.

- Ты бы могла выйти замуж за настоящего румына? А если это нужно для дела, если Андрей Дормидонтович потребует?!

У мужчин поголовно зазноблены щеки. Не останавливаясь, проходим Васильевский остров. На стенах домов картины - хоровод из жизни гуцулов. В темноте видно несколько мрачных православных фигур в сарафанах. Это румынские поэтессы Татьяна Толстая и Татьяна Ларина. Свет не включают. Нет нефти. Всю продали дружественным арабам. Идет несколько женщин в нормальных чулках. С длинными и очень тонкими ногами. Красиво, но необычно. В рыбном магазине на Среднем проспекте двенадцать эмалированных лотков с частичком. Восемь метров серого частичка с морковью. Красное на сером - к разлуке. Но если все равно умирать, я хотел бы сюда когда-нибудь вернуться. Количество галстуков на душу румынского населения выше всего виденного ранее. Двадцать три больших универмага "Пассаж", в которых продаются галстуки. Опять дрепт. Нас все посылают на какой-то дрепт. Может быть, я оттуда родом. Загадочная страна, где продаются одни пирожные и сумки. "Картошка" как в "Норде", как в "Севере", как тогда, только гнется алюминиевая ложка. Солдатики в бирюзовых шинелях нереальных оттенков поют утреннюю печальную песню. Хочется для разнообразия попить горячего. В бывшей кофейне только холодный лимонный квас от ревматизма. Нет беременных женщин. Не время беременеть, когда Румыния в опасности! Когда вырыты трамвайные рельсы и на их месте еще ничего не врыто! Когда на улицах не встретить собак со старушками, а румынский король торгует на чужбине вельветовыми джинсами!! Горе тебе, Румыния! И Дворцовая площадь твоя пуста. Хорошо бы засеять ее кормовыми. Бобовыми культурами. Не задерживайся, вперед, спутница моя Ависага, зайдем в заведение "Общепита"! Все из свинины. Первое из свинины, второе из свинины, кофе из свинины. Я не православный мусульманин, нет! Просто я не люблю вареную свинину. У меня больная печень. Туалет на Фонтанке старого образца. Для гуцулов. Вокзал без скамеек. Много красноармейцев. У ратников узкие послевоенные шеи. Они только что выиграли третью мировую войну и теперь в полутьме чего-то ждут. Это берендеи. Все в черном.

Очень сильный запах нефти. Может быть, это от них. Может быть, они танкисты. Вокруг вокзала жидкая новостроечная грязь. По седла. Как в настоящей жизни. Десять минут, а по моим только три. Ночью они сводят часы с концами, чтобы не ускорять сутки. Сейчас я тоже пропахну керосином. Солдат-гунн с доисторическим лицом ест несвежие "бычки в томате". Ему шестьсот лет, как Ною. Диктор по вокзальному радио булькает

про Лодейное поле. Я знал древний город с таким названием, страшная дыра: хлебозавод, базар, атомная электростанция, тюрьма предварительного следствия. Может быть, его тоже отдали Румынии. Восемьдесят процентов мужчин и пять неопрятных старух-уборщиц занимаются йогой. Кажется, что все должны понимать по-русски, настолько все плохо одеты. Двое суворовцев прошкандыбали за хворостом - козырьки вдоль носа, жгут ведьм! Все население читает железнодорожный справочник и роман одного румынского прозаика "Мертвые в душе", который убежал за границу. Очень хочется навечно переодеться в местную одежду. Чтобы дышала кожа. Надпись по-румынски - "Народная дружина". Света нет. Три дружинницы в резиновых сапогах. Идейные лесбиянки. Вера, Надежда и Любовь Братулеску. Все с высшим образованием - как не стыдно! "Ой, какой миленький!"

- Это вы мне?! Я не миленький. Это у меня курточка такая. В социалистическом Израиле покупал перед самым отъездом. Мне нужно срочно переодеть всю эту группу израильских туристов. Теперь совершенно другое дело! Теперь семь плацкартных билетов до Куйбышева. Можно общих. Вот наши документы. Это по-арамейски! Мы - полномочные представители террористической организации "Русский конгресс".

Глава четырнадцатая. НОСТАЛЬГИЯ.

АВТОР ХРОНИК. До свидания, господа, пусть российская земля вам будет пухом под ногами.

МИХАЙЛОВЦЫ (*нестройно*). Благодарствуем. Барух Ха-Шем. Гезунтер ид! Старосту нашего непременно найдите.

АВТОР ХРОНИК (*раздраженно*). Найдем, найдем и пошлем вам вдогонку. Не печальтесь. (*Ависаге*) Наконец, мы от них отделались. Что за народ! Хуже евреев!

АВИСАГА (*всхлипывает, вытирая глаза*). Как же, найдешь его теперь! Зря ты его паспорт сжег! Кажется, уехали.

АВТОР ХРОНИК (*поморщившись*). Действовал согласно инструкции.

АВИСАГА. Хорошо бы нам самим не застрять в Румынии. Без тебя не откроют газету и Нобелевскую премию вручат не тому! А меня ждет любовник, правда, довольно бездарный. Ты должен его знать...

АВТОР ХРОНИК. Ничего не хочу слышать! Давай дальше поедем поездом, а то опять будут шарить. Что там у тебя под миноискателем все время звякало?

АВИСАГА (*лениво*). У меня звякал лифчик. Смотри какой дяденька в треухе, и еще один в кубанке.

АВТОР ХРОНИК. Это и есть гуцулы, коренное население страны.

Настоящие питерцы!

АВИСАГА. Невозможно под джинсами девятнадцать часов подряд носить израильские колготки! Образуется такое поле, что ни до чего не дотронуться.

АВТОР ХРОНИК (*устало*). Потерпи и ни до чего не дотрагивайся. Попробуй

положить подбородок на подоконник и так поспать. Можно подложить шарфик. В десять часов в наш номер разрешили внести чемоданы.

АВИСАГА. Умираю, как хочется кофе.

АВТОР ХРОНИК. Можешь его пожевать. У нас его сорок пачек.

АВИСАГА. Нет денег - нечего посылать в командировки! Сулят золотые горы, а нет элементарных ста долларов, чтобы заплатить за четыре часа сна лежа.

АВТОР ХРОНИК. Еще несколько часов тебе придется постоять. Каждый час ты стоишь на двадцать два с половиной доллара. Я уже семь лет столько не зарабатывал.

АВИСАГА. Мамочка! Кто это такие?!

АВТОР ХРОНИК. Это спецвойска.

АВИСАГА. Какая жуть, как кроты! Я не могу все время стоять на одном месте. У меня пока еще две ноги, а не четыре!

АВТОР ХРОНИК. Это все из-за электрического поля. Ты сняла колготки?

АВИСАГА. С большим трудом.

АВТОР ХРОНИК. С четырех ног их вообще было бы не снять.

АВИСАГА. Давай сюда больше никогда не ездить. Давай друг другу обещаем. Это было идиотским решением - везти их через Румынию. Как ты думаешь, в этой кассе продаются билеты до Парижа?

АВТОР ХРОНИК. Это коммунистическое государство. Здесь не продают билеты до Парижа. На Финляндском вокзале никогда не продавались билеты до Финляндии. Тебя путает название. Смотри, бабы все в мехах.

АВИСАГА. Мне и в мои золотые годы такие меха не снились. Почему их выгоняют?

АВТОР ХРОНИК. Выгоняют только старух. Наверное, это бывшие вокзальные проститутки, и полиция не хочет, чтобы они стояли тут по утрам без билетов.

АВИСАГА. Если бы им билеты до Куйбышева согласились продать за леи, я давно бы уже спала. Только не начинай пересчитывать мой сон на пачки турецкого кофе. И перестань коверкать итальянские слова!

АВТОР ХРОНИК. Им кажется, что я говорю по-румынски.

АВИСАГА (*устало*). Им ничего не кажется. Я снова начинаю засыпать. Мне снится, что кругом все наши.

АВТОР ХРОНИК. Смотри, чтобы наши не утянули сумку. Продень в нее ногу.

АВИСАГА. Могут взять вместе с ногой. Интересно, где тут может быть туалет?

АВТОР ХРОНИК. Тебе женский?

АВИСАГА. Скоро мне будет все равно.

АВТОР ХРОНИК. Ой, какая ванна! Ой, какая ванна. Просто "ой". Только нет пробки. Не предусмотрено.

АВИСАГА. Это пустяки. Можно заткнуть полотенцем.

АВТОР ХРОНИК. Такие ванны бывали только в "Англетере". Принеси мне самопишущее перо. Протри обе руки. Правую. Левую. Теперь протри

переносицу. Мозжечок. Стучатся? Не открывай! За девяносто семь долларов я хочу полежать в горячей ванне.

АВИСАГА. Ниже этажом залило негров.

АВТОР ХРОНИК. Так им и надо! Это им за коммунизм с человеческим лицом.

АВИСАГА. Теперь придется сливать ведром в раковину.

АВТОР ХРОНИК. Одну минуточку! Открой дверь и следи за поступлением воздуха. Я чувствую, что я задыхаюсь. Я могу отравиться воздухом родины. Все-таки мы уже давно не румыны, мы уже отвыкли!

АВИСАГА. Бедненькие михайловцы, а каково им возвращаться?!

Глава пятнадцатая. БУХАРЕСТ.

(по телефону)

БУХАРЕСТ. Плохо слышно... подопечные... полет перенесли хорошо!..

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Плохо слышно... один исчез...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Остальных удалось завести... да, в скорый... в поезд...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Мы боимся, что их не встретят, не могли бы вы что-нибудь предпринять...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Кажется, не в тот.

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Все в точности... торжественно лишили их израильских паспортов...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Есть фотографии... взяли подписку о невыезде из Куйбышева.

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Только если доберутся: мы посадили их не в тот поезд...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Да, да, может быть, вы и правы... это им наука...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Настроение было неплохим... беспокоятся, что в поезде им дадут мясное с молочным...

ИЕРУСАЛИМ *(неразборчиво)*

БУХАРЕСТ. Я им приблизительно так и сказал... все, мы возвращаемся, будем звонить из аэропорта... готовьте следующую партию...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая. ЕЕ НЕТ.

День, ночь, снова день, я знаю имя Бога, стало ли мне от этого легче, да, стало легче!

Боря ночью влез в окно. "Ты один?" - спросил он осторожно. Я включил ночник и посмотрел на часы. "Видел тебя с бабой, - добавил он. - Ты бабу завел?"

- Да, что-то такое, - неопределенно ответил я.

- Про ловушки в гастрономах слышал? - выдохнул Борис Федорович.

- Слышал, - ответил я. - Очень от тебя, Боря, анисом несет, нет сил!

- Ну и что ж теперь делать?

- Что делать, Боря?! Учить язык! Когда тебя отправляют?

- Никогда. Я решил тут проживать. Но как теперь ходить в гастроном?

Сказать я им еще пару слов смогу, а думать на еврейском, хоть, б..., убей, не выходит!

- Выучи считалочку! Когда тебе нужно думать на каком-нибудь языке - вот ты идешь в магазин, в аэропорт или там в банк, ты ее тверди. В аэропорт, тем более, тебе больше не нужно. "Элик-белик бом, митахат ле альбом". Или хочешь "штей цфардеим, диги дан, диги дан", но это сложная! Давай я тебе первую напишу. Да никак она не переводится! Какое тебе дело, как она переводится, - ты так себя только запутаешь! Идешь мимо контроля и говори - "элик-белик бом, митахат ле альбом!" Лучше даже - как выходишь из дому, сразу начинай твердить, а заговорят с тобой - изображай глухонемого. У тебя два месяца для тренировки. Зубри.

- Сам-то ты уезжаешь? - глухо спросил Усвятцов.

- После конкурса, Боря, поеду. Но куда - сказать еще не могу, вернее, сам еще не знаю. Шиллера нашел?

-Нет.

- Царство ему небесное. Хорошо бы и нас с тобой поскорее прибрали. Ты наведывайся.

Боря исчез, как и появился, а я попытался заснуть, но сон не шел. Мысли мои были тревожными. Еще бы! Три поездки за месяц с невольничьим грузом! И настроение от этого было прегнуснейшим. Наличных денег тоже пока никто не платил.

За месяц в редакции ничего существенного не произошло. Шла подготовка к конкурсу. До запрета на русский оставалось два месяца - после этого газета выйдет в свет, и Менделевичем будут торговать, как горячими пирожками. Даже Маргарита Семеновна из издательства "Алия" сказала, что Менделевич идет в поэтической рубрике сразу после Мандельштама и между ними уже никого не протиснуть. Бессмертие Менделевича перестало зависеть от людей. Чего обо мне сказать было нельзя.

В восемь часов я уже был в редакции. Вахтер Шалва проверил на входе мои карманы. "Слушай, мне никто не звонил?" - спросил я. - Да нет у меня,

мудак, никакого оружия!" Парочка младших редакторов слонялась без дела по коридорам, и сонный Арьев сидел в своем кабинете, делая вид, что работает. "Не спрашивайте меня ни о чем! Никто вам не звонил и никто не приезжал, - раздраженно сказал он вместо приветствия. - Вообще я не понимаю, что у вас тут происходит. Я уже не рад, что ввязался!"

- У меня происходит?

- Ну, не у вас, не придирайтесь! Говорят, что среди редакторов есть один маккавей. Кто это может быть?! И сегодня еще из-за Тараскина был жуткий скандал.

Профессора Тараскина, действительно, в Иерусалиме еще не было. Я даже начал подумывать, что раз прошел такой большой срок, значит, наш Тараскин не подкачал! Профессор кончил гимназию в буржуазной Латвии, знал латынь, и старец, которому плохо давались языки, не мог не принять этого во внимание.

"Как бы не так! - воскликнул Григорий Сильвестрович. - Вечно ты напустишь розовых слюней! Живу себе, не ведая греха, вдруг "бамс" - телеграмма. Старец недоволен. Гроза!"

- Мною недоволен? - спросил я со страхом.

- Тобою, магистром, Арьевым, Тараскиным - всеми недоволен. Эта сволочь Тараскин не хочет возвращаться в Россию. Бойтся. Теперь новое отчудил: издал скандальную статью про проститутку, называется "Кожаные женщины". Какой он к черту экуменист с этими кожаными женщинами! Старец, конечно, в бешенстве. Но где я возьму других исполнителей его идей?!

- Каких именно идей? - наивно ляпнул я. - И где Тараскин?

- Ну, этого-то сюда приволокут. Просится на Аляску! Говорит, что успел почувствовать себя новым американцем! Еще один Довлатов! На кой черт они нужны нам на Аляске, там своих алкоголиков хватает! А идеи касаются кино. Требуется сценарий ко дню рождения патриарха "Иерусалим неземной", просто документальный фильм - ему нужно для точки отсчета. Но я уже все сроки пропустил! Пожалуй, мне лучше на пару дней исчезнуть. А то старик разволновался, звонит каждые три часа. Если наткнется на тебя, скажи, что все в разъезде. Сиди у себя, в конце дня собирай младших редакторов - пусть отчитываются. Если Ависага объявится - скажи ей, что ее все ищут.

Обещанная гроза состоялась на следующий день во время планерки. Я поднял трубку. "Ножницын!" - услышал я дребезжащий старческий голос. Слышно было так отчетливо, как будто звонок был не из Америки, а скорее с соседней улицы. В моем кабинете сидело несколько младших редакторов, которые с удивлением наблюдали, как я поднимаюсь из кресла и автоматически приглаживаю волосы. Я понял, что это был сам старец.

- Где Гришка?! - картавя, кричал он. - Как исчез?! Всех сгною! Как фамилия?! Еврей?! - я даже не успел назваться, но он вовсе и не собирался меня слушать. - Подлецы! Даю вам трое суток на сценарий! Отправить ко мне с нарочным! - бросил он в трубку, и нас разъединили.

Так единственный раз в жизни я непосредственно общался с живым гением.

Глава вторая. ТИШЕ, Я - ЛЕША!

Всю ночь мне снился отвратительный толстый людоед, который перекусывал позвоночник клыками. Кряк. Кого не съедал сам, того посылал на погибель старцу. Я проснулся в холодном поту, решил в редакцию не ходить и сразу засесть за сценарий. И весь день, как очумелый, писал, пока у меня не начало сводить пальцы. Беда была в том, что я всю жизнь ненавидел кино. Это раз. И хорошие фильмы снимают только шизофреники, которым никакие сценарии не нужны. Все равно они их не читают. Вечером, когда раздался телефонный звонок, я уже почти все закончил.

Звонил Сенька-фотограф. "Ну, как?" - спросил он.

- Отлично! Считаю, что готово.

- Ты не мог бы тогда ко мне забежать? - спросил он вполголоса. - Кажется, я отловил тут одного маккавея, но не сто процентов!

Первое, что я увидел, войдя к нему в дом, был вдребезги пьяный Шкловец. Я посмотрел на Сеньку-фотографа с изумлением: "Ты с ума сошел! Он не может быть маккавеем - у него пятеро детей!"

Сенька обалдело вытаращил глаза: "Дети могут быть и не его!"

- Да какие там "не его"! Похожи все как две капли!

- Все равно посиди тут немного: он мелет всякую чепуху, а мне потом будет не расхлебать!

Шкловец, кажется, меня не узнал. Мы с ним были знакомы шапочно. В редакции он бывал мало, ни с кем не здоровался, а его тайнственные материалы пересылались непосредственно старцу. Видимо, они тут с фотографом целый вечер пили.

- Помнят, что я русский! По глазам чувствую, что помнят. А я не русский! Я полиграфический техникум кончил! Детки меня не признают за отца! (Сенька посмотрел на меня очень выразительно.) Дочка, Ханочка, донесла директору школы, что я во сне говорю по-русски! А у меня аденоиды, у меня справка есть от доктора Скурковича! И Фишер - это не Фишер! - плачущим голосом лепетал Шкловец. - Тайну двух океанов смотрели? Шпион убил своего брата - русского математика и занял его место! Вот так! "Чемоданчик мой дембельный, ни пылинки на нем!" - неожиданно пропел он фальцетом. - Бог - это только идея! Нельзя поклоняться идее. Хочешь, я сниму кипу? Спорнем?! Маккавеи все ходят без кипы. Пьяный Шкловец затих, и мы снова переглянулись.

- Вряд ли, - сказал я. - Почему тебе вообще пришло в голову, что он маккавей?

- Да он тут такое нес! Предлагал записаться в братство - не станет же он от себя такое предлагать?! Ладно, давай переложим его на диван, надо же, как фраер назюзюкался. Орал тут, что Менделевич не имеет отношения к литературе, что он позаботится, чтобы Нобелевским лауреатом стала бухарка

Меерзон. Критик сраный! Что мы с его шляпой будем делать? Снимать или нет?

- Раз Бог - это только идея, - сказал я, поразмыслив, - снимай! Там у него еще что-то есть!

Мы положили любителя поэзии на кожаный диван, а сами уселись за стол.

- Ах, жалко, что не он! - разочарованно выдохнул фотограф. - Я бы его зубами загрыз. Я этих ангелов ночных ненавижу! В сорок лет уже тяжело, когда тебе по самые яйца лезут в душу! В сорок лет надо так жить, чтобы никто не видел, как ты одеваешься или раздеваешься. Надо уже так жить, чтобы, когда ты сдохнешь, еще два месяца об этом никто не знал, пока не будешь вонять из-под двери. Но попробуй так поживи. Ты куда смотришь?

На стене висела фотография старца Н. вместе с группой сотрудниц. Я узнал одну из сотрудниц. У меня не было ни одной ее фотографии.

-Художественная работа! - сказал Сенька. - Да не пялься ты так, я тебе ее подарю. Еще грамулечку?!

Я встал из-за стола, пошел в ванную и помыл лицо холодной водой. В последние годы я стал замечать, что становлюсь все больше похожим на отца. Поэтому я стараюсь реже смотреться в зеркало. Лицо становится безжизненным и чужим. Все, что со мной происходит, в общей форме называется ностальгией. Ни по чему конкретному. По прошлой жизни, по яхт-клубам, в которых я никогда не занимался, по чужим девушкам с раскачивающейся походкой, по самому себе, по миру без маккавеев. Я сунул голову под кран и немного пришел в себя. Опять я стал пить каждый день. Я почти не пьянел. Но я стал плохо переносить человеческие голоса. В общем, мне жилось неплохо. Пока еще была работа, крыша, я не умирал от любви. А то, что жизнь стала рассчитываться на недели, а не на годы, было только вопросом привычки. Сенька-фотограф продолжал что-то рассказывать из-под двери, и я время от времени мычал в ответ, делая вид, что слушаю.

"...Постелили им за шкафом, и я преспокойно заснул. А просыпаюсь оттого, что Самойлов пробирается в ванну, а Гришка его перехватывает по пути и ему шепчет. Тяжелым трагическим шепотом - никогда не забуду: "Ты мне просто отдай свои трусы, а когда она вернется из ванны и увидит на мне твои плавки, то все будет в порядке". И она действительно поорала сначала: "Свинья, ты не Леша, ты куда меня привел, где Леша, нет, ты не Леша!" И тут он ей шепчет, как удав: "Тише, тише, молчи, я - Леша!" И ты представляешь, ее это убедило..."

Я причесал волосы ладонью и вышел из ванной. Шкловец спал калачиком, подложив обе ладони под щеку. Маккавеи в такой позе не спят... Сенька тоже это понял. "Я вот чего думаю,-сказал он,-а может быть, этот законспирированный маккавей - сам Гришка Барский! Способность убеждать - просто феноменальная. Прирожденный мелкий фюрер!"

- Все, замолчи, я тебя больше не слушаю! - ответил я. - 1 Ты превратился в натурального охотника за ведьмами.

- Еще бы не превратиться, когда какая-то сволочь следит за каждым моим шагом! - возмутился фотограф.

- Да и пусть контролирует. Не Барский же! Ну, трахался человек когда-то двадцать лет назад в чужих трусах! Чего ты сам не делал двадцать лет назад?! При чем тут маккавей?

- При том, что за нашей спиной что-то происходит! Напряжение такое, что страшно жить. - Фотограф утер глаза и выругался.

- Сень, ты стал как Арьев, у тебя банальный страх смерти. Помолись вечером, отключи телефон и спи. Умереть во сне не больно. Может быть, выяснится, что ты тоже маккавей. Живешь двойной жизнью и ничего об этом не подозреваешь. Спишь на спине, детей у тебя нет! Ты - маккавей, я - маккавей. Это мировая зараза, хуже любого СПИДа!

Глава третья. ИЕРУСАЛИМ НЕЗЕМНОЙ. (сценарий ко дню рождения патриарха)

Марш Бетховена. По вечернему Иерусалиму движется траурный кортеж лимузинов. На переднем - черный флажок президента, шестиугольный крест и еще какой-то флажок, которого никто не знает. И не узнает, потому что это вообще не флажок, а тряпочка. На тряпочке выдавлено слово на языке птиц. В городе происходят праздничные перезахоронения. За кортежем мчатся воронье мотоциклисты, их приблизительно четыре. Прохожие стоят в тени на тротуарах и едят маргарин, несоленый, прямо от пачки. Откусывают его вместе с бумагой. На маргарине печальная траурная кайма. Все индекс двести. (Эту сцену снимать очень трудно, потому что многих актеров тошнит, но не рвет. Поэтому в городе привычная праздничная обстановка, но просто всех немного мутит.)

Возле дворца президента кортеж приостанавливается, но в этот момент картина резко меняется - сначала исчезают мотоциклисты и часть водителей, потом на пустынной бульварной мостовой остается два человека, опирающихся на лопаты. Они уже не во фраках, а в какой-то дерюжке серого цвета. Вместо четырех мотоциклистов остается один юноша-дебил с полуоткрытым ртом.

После этого Иерусалим пустеет, двое спутников передергиваются, слегка оправляют ветхую одежду, но при этом продолжают гнусаво между собой беседовать. "Хоронить тоже надо с умом! - заявляет маккавей постарше. - Спят с кем ни попадя, а теперь поди разберись. Кладбище - не свалка!" *Время позднее, третья стража. Оба окончили медицинский колледж по классу перезахоронений. Оба нюхают табак. Лица прекрасны. Врачи. Снова современный город. Толпа наблюдает, как высохшая женщина-инвалид пытается из автомашины пересест в инвалидное колесное кресло. Она каждый раз промахивается мимо кресла и падает, ударяясь протезом. Все смотрят с сочувствием, у мужчин глаза на мокром месте. Маргарин уже никто не ест, но на всех углах стоят большие боксы с пачками маргарина на случай вечернего голода. Голос диктора рекламирует домашний морализатор "Эрнест-12" и противозачаточный порошок "Бедная Мария", которым посыпают с самолетов. Толпа озирается в такт, пытаясь понять,*

откуда слышится голос. Про женщину-инвалида все забыли, и она уползает к своим. Снова город пустеет. Последними исчезают мусорики с алюминиевым бачком - небритый, с впавшими глазницами, волосы неопрятными кустиками торчат из носа, и маленький мальчик, который играет на скрипке "сурка". Это маленький Чарльз Бетховен. Он очень любит сурков и вообще выделяет грызунов. В семье у него абсолютный слух по женской линии. Потом мальчик тоже исчезает. Остается один мусорик, но теперь это энергичный нахал в серой форме монашеского ордена. Иерусалим снова пуст. Видно, что в нем никого нет, кроме этих неопрятных серых монахов.

ГОЛОСА.

- Где все?
- Их побил. Газ 2020. Ничего, снова зародятся на материальном плане.
- Кто же они?
- Это девственники.

Центральные улицы современного города.

ГОЛОСА.

- Вчера было еще два случая материализации маккавеев - оба взглядом гнули вилки.
- Серебро?
- Нет, мельхиор.

Смены современного Иерусалима небесным городом маккавеев учащаются, переходя естественно один в другой. Монастырь еврейского братства. В коридорах висят портреты хасманеев в круглых очках, муляжи. В полутемной келье сидит жгучий брюнет и ковыряет кожу на пятках. Видно, что мозг его напряженно работает. Одет девственником, но в драных теннисках, через которые ковырять пятки не очень-то и удобно. Становится ясно, что он переписывает евангелия и сейчас принимается за русские, потому что справа лежит длинный список имен, в который он постоянно заглядывает. В кадре русские имена (ТВЕРДИЛО, ТОМИЛО, ГРОМИЛО, ЖДАН). Неожиданно он ревностно бьет себя в лоб и что-то восклицает по-аркадски. Потом выписывает гусиным пером на отвратительном обойном рулоне:

"Евангелия от ТВЕРДИЛО", "Второе письмо коринфянам от ЖДАНА".

Невдалеке от обойной бумаги стоит блюдо желтой кладбищенской моркови. На горизонте - Иерусалим. Солнце недавно село. Небо в сполохах. Монах в очках рассматривает морковь со всех сторон и недоверчиво сплевывает.

ГОЛОСА.

- А где поэты?
- Все побегши.

Слышно постукиванье и клецанье сандалий - маккавеи бродят по пустому городу.

- Будет конкурс стихов - все постепенно спустятся вниз.
- В каком городе состоится конкурс?

- В обоих.

ГОЛОС ДИКТОРА.

Вчера еще тут град шумел (*хмыкает*). Время не в длину, оно наизнанку; (*озабоченно*) опять арабами пахнет, что это за запах? Такой спертый запах с душком, не очень конкретный.

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. Проверяют документы у слепых. Девушке во сне снится возлюбленный маккавей. Звонок в дверь. Она испуганно просыпается и вскакивает. В дверях стоит отвратительный студент с бородкой клочьями. Надпись на майке: "Я - студент". Флажок с птичьей надписью, которая была на лимузине. В руках у студента согнутая вилка. Площадь в старом городе маккавеев. На ящике из-под вермута сидит старец Н. и что-то злобно бормочет. Диктор переводит: "затворите за собой рыбные ворота!" Идет подготовка ко дню Д. Жгут русские книги.

ГОЛОСА.

- В каком плане?

- В обоих.

Своры собак бегут трусцой. Изредка проезжает грузовик с книгами, часть слетает с кузова, высокие штабеля книг никак не закреплены. Повозка, запряженная страусами. Маккавей развозит ордера на перезахоронения. В саду сонный ихтиозавр терпеливо сидит на страусиных яйцах. Повезли бочку с дымящейся смолой. Обливают смолой русские книги и жгут. Современный город. Магазин славянской книги. Добрый сказочник плачет пьяными слезами. Маккавеи выносят его книги по лестнице и поливают книги из цистерны. Один из маккавеев подносит шведскую спичку, но книги не хотят загораться. Крупно надписи на подмоченных книгах Ефрем Баух - "Сонеты", Милославский - "Это я - Юрочка", Зайчик "Зайчик". Маккавей нюхает книги. Старший по званию берет хозяина магазина за шиворот и спрашивает: "Чем ты их, сволочь, поливал?" Хозяин не реагирует, пьяно хихикает. Подносят спичку к самой цистерне, и из отверстия вырывается высокий столб пламени. Костры по городу.

Теперь видны торфяники. За ними знаменитые ковенские казармы. Каземат рава Фишера. Он стоит босой перед окном и любуется пылающим городом. Матушка в чепце читает в теплой спальне "Железного канцлера". Фишер в бешенстве вырывает книгу из жениных рук и швыряет ее в окно. Потом срывает с ее ночной рубашки фиолетовый университетский значок и тоже швыряет в окно. Современный город. Пустырь на окраине. Стоит маленькая кабинка, в которой живет растрепанная старуха в сапогах. Жалеет маккавеев. Называет их лебедями. Жарит оладьи на чугунной сковородке. Это ужин для маккавеев. Время от времени со злостью отрывает деревянные бруски от дверей и оконных рам. Приговаривает: "Согреть чужому ужин - жилье свое спалю!" Большой плакат над пустырем "СБОРНЫЙ ПУНКТ МАККАВЕЕВ".

ГОЛОС ДИКТОРА.

Город - счастье мое! Город - герой моих хроник. Твой русский день по средам. Мамилла - твой новый божественный квартал - превращен в медный

жертвенник. Весь город вместе - дети, внуки твои. Городские муравьи вылезают из бетонных термитников, чтобы отпраздновать твой триумф. Костры на оливковой горе, костры вокруг семиглавки. Высокий язык Антиоха Кантемира больше не будут трепать на еврейских рынках. Год кончается. Жизнь кончается. Приближается смутное время. Толпы людей без цели слоняются по улицам. Непонятно, успел ли Боря Усвяцов выучить волшебные слова про элика-белика, успел ли армяшка-менделевич допить свое пиво-маккаби. Город светится миллионами маленьких фонариков, небо расцвечено петардами, громадный жертвенный костер полыхает в осенней долине гееном. Пламя костров достигает крепостных стен. Организация "Русский конгресс" совместно с братством маккавеев проводит свою заключительную акцию.

Глава четвертая. СТАРЕЦ ХОЧЕТ ЮРУ.

(до конкурса три месяца)

Григорий Сильвестрович, как бобик, прибежал на работу на третьи сутки. Выглядел он дико озабоченным.

- Как отослал?! - удивился он. - От чьего имени? От Арьева? Это правильно. Копию хоть оставил? Потом взгляну. А пока вот что: батька требует вызвать Юру Милославского. Говорит, что без него в газете не хватает шика. Читал Юрин рассказ про всадников? "Тамарка, - говорит, - почему у тебя трусы на жопе грязные?" Тут тебе и реализм, и готовый русский колорит!

- Лучше бы старцу попробовать Эдика Дектера! Все-таки известный беллетрист, борец с режимом! - зевнув, предложил я. - Извините, бессонница замучила!

Барский посмотрел на меня с удивлением: "Ты что?! На хер он сдался? Бездарь и жулик, он нас всех оберет. Нет, мне нужен образованный человек, но чтобы умел думать не по-русски. И мог потрафить старцу! Видимо, мы промахнулись с Тараскиным. Старец убежден, что Тараскин из Харькова! Сколько я ему по телефону ни доказывал - стоит на своем! Упрям как бык. Давайте вашего Юру!

- Боюсь вам обещать, Григорий Сильвестрович! Очень тонкая душа, обижен на весь мир - может не согласиться!

Юра Милославский уже несколько лет жил в греческом монастыре Эйн-Геди. После того, как за одну ночь ему удалось перевести "Отче наш" на иврит, он вышел из Союза израильских поэтов, попрощался с мамой и поселился в Иудейской пустыне, в том месте, где царь Давид срезал у царя Саула край штанов. Григорий Сильвестрович выслушал меня недоверчиво и записал монастырский адрес. "Съезжу, чем черт не шутит, - объяснил он мне, - человек, похоже, тщеславный, может быть, на что-нибудь и клюнет". Но прошло еще несколько суматошных дней и вместо Милославского в

редакцию нежданно-негаданно ввалился профессор Иван Антонович Тараскин. Его привезли прямо из аэропорта, он всех сторонился и был очень бледен. "Почему так много маккавеев на улицах?!" - с судорожной гримасой спрашивал он. "Ты мне зубы не заговаривай, ты скажи, прохвост, куда своих сопровождающих-михайловцев дел?!" - в бешенстве орал на него Барский, но профессор в ответ только растерянно улыбался. "Кандидат на Казань! - шепнул мне Арьев. - Не исключено, что его пытали!" Тараскина действительно пришлось госпитализировать. Арьев после этих событий притих и задумался. "Что же с нами будет, Миша, что будет?! На улице страшно выходить. Вам не страшно? А что же будет, когда выйдет газета?! Мы нарушаем мировое равновесие?! - затянул он в одно прекрасное утро. - Нужно уходить. Потом будет поздно".

-А уже и сейчас поздно! - бросил я. - Теперь все зависит от "Конгресса": увезут нас отсюда - хорошо, а нет - значит нет. Вы бы вместо паники лучше стихи писали. Чего-нибудь новенькое - конкурс на носу!

- Да ничего в голову не лезет, хоть плачь! - на глазах у Арьева действительно были слезы. - Это не конкурс, а сплошное надувательство. Я вас хочу предупредить, как друга...

- Вы меня уже один раз предупредили!

- Была страшная цепь заблуждений, но теперь все сведения точные! Если вас будут уговаривать везти профессора Тараскина в Москву - ни за что не соглашайтесь! И не ввязывайтесь ни во что, где появится имя Белкера-Замойского! Это ловушка. Могу вам сказать одно - поэтический импульс в мире кончился!

Я, как всегда, слушал арьевский бред вполуха. Трудно было себе представить, что руководство "Конгресса" станет с Арьевым делиться. Есть такие люди, которых лучше не посвящать ни во что.

- Это у вас, Женечка, импульс кончился, - насмешливо бросил я, - а у остальных он только еще начинается! Смотрите, что делается в городе!

По Иерусалиму всю осень проходили тотальные чтения. Кто выступал на открытых площадках, кто в клубах, и только Менделевич выступал исключительно в "Шаломе", правда, на редкость эффектно. На сцене был растянут огненный венец, как в цирке перед прыжками тигров. И среди этого чадающего пламени Менделевич читал. Рав Фишер огнем был недоволен, считая, что эти идиоты все спялят, и специальные отряды стояли во время всего выступления с пенными огнетушителями. Но чаще всего в городе читали Фантики, Эдуард Дектер и бухарка Меерзон, которая грозилась отобрать у Менделевича по крайней мере треть голосов. Менделевич ее побаивался и прямо со сцены оскорбительно дразнил шмакодявкой. Вместе, на одной площадке, они еще не выступали ни разу. Григорий Сильвестрович сетовал, что участвует мало природных израильтян, но им идею конкурса вообще объяснить не представлялось возможным: то, что они называли израильской поэзией, собственно поэзией не являлось! Это были в основном тексты эстрадных песен, под которые израильтяне водили хороводы и плясали, и оформить их прилично для международного конкурса было

невозможно. В окончательных конкурсных списках никого нового я не увидел: Лимонов по-прежнему шел от Ватикана, где у его жены были давнишние связи. За ним в списках шли братья Моргенштерны, братья Копытманы, Гробман, Арьев, Бараш, Губерман, Верник-Марголит, Белкер-Замойский и, что меня очень удивило, Юрий Милославский. Все-таки Григорию Сильвестровичу удалось его откопать! Я внимательно часами изучал этот список: по-настоящему кроме Замойского против армяшки могла выстоять только настырная поэтесса Меерзон.

Если "Конгресс" не решится ее убрать, предстоит интересная поэтическая схватка.

Глава пятая. СОЗВЕЗДИЕ БЛИЗНЕЦОВ.

У меня зазвонил местный телефон. Все звонил и звонил, не переставая. Я не поднимал трубку, потому что знал, что это Григорий Сильвестрович, и мне не хотелось выслушивать глупости. Я представил себе, что телефон вовсе не звонит, а я - Пушкин. У меня даже ногти на руках стали расти быстрее. Если бы при Пушкине были телефоны! Интересно, кому бы он из своей деревни в первую очередь позвонил? Пушкин - "близнец". Это очень ненормальное созвездие: они не выносят изоляции. Пушкин наговаривал бы с границей целые состояния. Телефон бы не умолкал. Он бы звонил в Молдавию, звонил декабристам в Сибирь - телефон бы обязательно прослушивался, а его почем зря дергала тогдашняя гэбуха. В Болдино, вместо того, чтобы писать маленькие трагедии и Болдинскую осень, он бы звонил этой корове Наталье Николаевне, с которой он тогда еще даже не был обручен. Он звонил бы Николаю Первому Палкину, который в это время развлекался с фрейлинами, и устраивал бы ему жуткие сцены ревности. Если бы я был Пушкиным, я бы лучше никому не стал звонить, а научился играть на аккордеоне, сидел на бревнах и пел. В конце концов трубку пришлось снять, потому что Григорий Сильвестрович громко выматерился на всю контору и начал лупить кулаком в стену. "Ты чего трубку не снимаешь? - подозрительно спросил он. - Дезертировать надумал?!"

- Не исключено! - сказал я неожиданно для себя. Видимо, о нашем разговоре ему наклеузничал сам Арьев, или у Григория Сильвестровича было собственное собачье чутье.

- Эка жалость! - сказал Григорий Сильвестрович. - Только я тебя в Европу направить собирался!

- К ней? - спросил я, помолчав.

- К ней. Но ты не беспокойся, я найду тебе замену.

- Я пошутил, - покорно засмеялся я, - куда ехать? Впрочем, я поеду куда угодно. А чего она сама не показывается?

- Что ты за газетчик? - удивился Григорий Сильвестрович. - Третью уже неделю неевреек в святая святых не велено пускать! Ты что, за новостями не следишь? Зайди ко мне в кабинет!

- Я слежу, - тупо сказал я и повесил трубку. Этого следовало ждать. Из города непонятным образом исчезали люди с низким индексом. И женщины без физических недостатков встречались все реже и реже. "Может быть, и к лучшему! - торжественно думал я, идя к Барскому. - Должно же быть хоть одно место на Земле, которое не подвластно похоти. Только музыка высших сфер, священный текст из репродукторов и перестук маккавейских сандалий!"

- И второе, - сказал Григорий Сильвестрович, - я разговаривал на днях с новым мэром! Так вот, улица Иорама Бен-Гилеля, царство ему небесное, будет переименована в улицу Михаила Менделевича! Завтра на домах будут менять дощечки. Проследишь!

-Так еще же не было даже конкурса! Это совершенно неприлично, такая прыть! - возмутился я.

-Ты наивный человек! - хмыкнул Барский. - При чем тут конкурс? "Конгресс" решил, что Менделевич станет Нобелевским лауреатом, и он им станет! Пусть хоть они все наложат в штаны! То, что к власти пришли маккавеи, нам только на руку. И прекрасно, что результат конкурса всем ясен заранее. Так будет надежнее! А Менделевич просит для уверенности, чтобы им называлась какая-нибудь улица, и правильно просит. Компрене? Мэр - наш, он давно уже хочет пойти навстречу, но до вчерашнего дня он побаивался, что восстанут раввины; они очень чтут этого парня Бен-Гилеля! Но теперь все улажено!

Заходи вечером, я тебя проинструктирую. Ух, какая духота! Ты замечаешь, что на глазах меняется климат?!

Это не климат меняется. Это такой город, где на глазах меняется все. Это Иерусалим сбрасывает маску! Встаешь рано утром, а с твоей улицы к созвездию Близнецов вывезли всех белых женщин. И с тобой самим по утрам что-то происходит. Как будто тебя лечат. И память отшибло начисто.

Вечером я получил все инструкции. Цель - Будапешт. Я везу Тараскина и сдаю его Ависаге. О Белкере-Замойском ни слова, ни полслова - информация Арьева оказалась ненадежной. Жалко Тараскина, но сейчас время, когда каждый за себя. Не отвезу я, так отвезет кто-нибудь другой. Это не эгоизм. Это финал.

Глава шестая. ЛЮБОВЬ.

Нищие шпионы. Черт знает что, где это видано. Мы - шпионы идеи. Холодильника нет. Свет зажигать нельзя. Безобразие. Краковскую колбасу приходится держать за окном. Рябина - давленная. Райские яблочки - обкусанные. Глазам никак не привыкнуть к старому свету. Икона на стене. Я не могу трахаться под иконой - мне не по себе. Мальчик из Уржума. Центробалт. Молоко прокисло. Я устал тут сидеть в темноте и читать книгу для слепых по-венгерски. Сортир флуоресцирует. Можно читать с

фонариком. Ненавижу Рембрандта. У него внутренний свет. Я ненавижу внутренний свет. Я люблю бронзовые люстры на семьдесят персон. Самое отвратительное из того, что написал Рембрандт, - это возвращение блудного сына. Там все отвратительно. Но особенно гнусные у него пятки. Вот если они, затаившись, сидят так по ночам, то как им самим приходит в голову, что они венгры? Я вообще не думаю ни на каком языке, я мыслю температурными образами. Купили бы хоть за казенный счет кота. Еле ворочаю языком. Ты эти трусы забыла у епископа на батарее? Нет, другие. Ты что, правда, писатель? Да я сам не понимаю.

- Почему ты сразу не сказала мне, что придется заниматься Белкером?

- А что это меняет? Ты и сейчас еще можешь отказаться.

- Разумеется. И от тебя я тоже могу отказаться.

- И от меня. Что ты куришь? Дай мне сигарету.

- Чем это пахнет? С улицы все время знакомый запах. Вроде ландыша.

- Я не переносю запаха ландыша. Меня в пятнадцать лет от серебристого ландыша чуть не вырвало в автобусе. Пришлось выйти и тащиться две остановки пешком.

- Неужели Белкер и сегодня не приедет?! Я так надеюсь, что нам удастся его уговорить.

- Очень может быть.

- Ты когда-нибудь его читала? Он довольно плохой поэт и пишет невнятные стихи про скобы и крюки. Но не хуже, чем двадцать других. Зачем понадобилось его трогать?

- "Конгресс" решил, что Нобелевским лауреатом должен стать маккавей! Белкер обязан подчиняться партийной дисциплине.

- Ужасно не хочется никого убивать. Пусть нам лучше меньше заплатят.

- Знаешь, о чем я мечтаю? Мне ужасно хочется хорошего клюквенного варенья. И добавить туда ложечку сгущенки.

- Видимо, его убьют. Еще, чего доброго, убьют во сне.

- Клюкву умела варить только моя бабушка. Невероятно сложный рецепт.

- Я бы не хотел никого убивать во сне. Даже такого придурка. Даже поэта. Может быть, ему мерещатся миры, а его взять и убить.

- Не переживай раньше времени. Не исключено, что нам изменят задание, завтра мы все узнаем.

- Холод какой! Мерзнуть из-за какого-то дерьмового поэта. Еще неизвестно, не проложит ли ему смертный приговор прямой путь к славе. Ты не в курсе, он уже все написал или еще пишет?

- Кажется, пишет.

- Тогда точно прославим! Станут говорить, что убит еврейский Есенин.

- Не люблю Есенина. Я вообще не выношу поэзии! Но еще больше поэзии я не люблю гладить. Ты ужасно колешься! Почему ты не бреешься?

- Я целыми днями бреюсь. Когда тебя нет, я смотрю в окно и бреюсь. Страшное зрелище. Вся нация похожа на бухгалтеров. Не может быть в одной стране столько бухгалтеров!

- Значит, может.

- Я мечтаю понять, как в тебе вообще происходит мыслительный процесс. Безумный хаос, из которого вдруг выползают слова "клюквенное варенье". Ты действительно никогда не была замужем?

- Меня тошнит от этой идеи.

- Обычно всех тошнит от этой идеи, но с тошнотой все справляются. Себе на голову. Тебе повезло. Как тебя звали в прошлой жизни? Ты же не всегда была Ависагой.

- Меня звали Аней.

- Прекрасное имя. Главное, очень еврейское. Ты меня любишь?

- Откуда я знаю. Видимо, нет. Ты уже спрашивал.

- Разве? Я начисто забыл.

- Сегодня двадцать первый век. Я уже этим переболела, перестань. Давай лучше спать. Сколько осталось до утра?

Сколько осталось до конца жизни? До конца весны? Сколько половых актов до конца любви? Восемьдесят, шестнадцать или два?

Глава седьмая. ПИСЬМО.

- Нужно передать Белкеру-Замойскому этот конверт!

-Что в нем находится?!

- Письмо от Андрея Дормидонтовича!

Есть тактика и есть стратегия. Разницу между этими словами понимает любой самый большой болван. Я тоже несколько раз эту разницу понимал, но потом у меня выскакивало из головы. Претендент на Нобелевскую премию Белкер-Замойский появился в Будапеште.

Мы сидели уже третий час, и она твердила свое. А я, как Николай Чернышевский, готовил себя к смерти. В состоянии ли вы для любимой женщины перебить всех поэтов на свете? Или хотя бы часть? Меня действительно раздражала манера писать в рифму. Но достаточный ли это повод, чтобы отправить человека в лучший мир? Туда, где серебряный звон, где на все хватает зарплаты и о еврейском индексе знают только понаслышке! Чем дольше я слушал Ависагу, тем труднее мне было решиться. Я не мог поднять руку на литератора! Все, к чему я стремился всю жизнь, - это покой! Но жизнь не баловала меня. Она подсовывала мне в спутницы прохиндеек и авантюристок! Неопознанных принцесс, магистров и шлюх. Призраки прошлого бродили за моей спиной, как коммунистические манифесты! Неужели опять кошке под хвост - и родство запахов и запах родства, клюквенное варенье и ягоды удивительной формы. Любовь, почему тебя нужно бесконечно испытывать?! Что перевесит, половая жизнь или долг? Глубокий респект к некоронованному вождю русской эмиграции или блаженны нищие духом?

- Не нужно истерик. Ты знал, на что идешь?

(Нет, я не знал, я и сейчас не знаю, и я никуда не иду.)

- Сначала ты морочишь мне голову, поешь песни про любовь, а потом отказываешься встречаться!

(Причем тут любовь и встречаться? И почему я иду один? Мы не договаривались, что один. Я трус? Конечно, я трус. И не стыжусь этого! Я не цепляюсь, я просто не могу взять в толк, почему мы не идем вдвоем.)

- Если бы я могла пойти в их посольство одна, то, разумеется, мне бы не понадобилась помощь истерика! Но Белкер согласился встретиться только с коллегой, да и то по списку, и не с Менделевичем! Он верит в цеховые клятвы! И ты пойдешь как миленький, один. Это наша работа, тебе за нее платят!

- Мало платят! - сказал я.

- Не важно! Ты получаешь деньги. И меня. И в самый ответственный момент собираешься увильнуть в кусты. Скажи мне, ты идешь или нет?! В последний раз спрашиваю!

- Иду, - сказал я.

- Тогда слушай. Перестань строить из себя святого. Просто его припугни. Пусть весь разговор вертится вокруг старца. Скажи, что ты считаешь Ножницына самым великим сочинителем эпохи. Лучом в будущее. Белкер дико боится старца. Он будет схватывать на лету каждый намек. Белкер знает, что Андрей Дормидонтович мстителен, как черт, просто сейчас от поэтических успехов у него кружится голова. Заставь его смотреть на вещи реальнее! Скажи, что старец думает о нем, но считает, что сейчас еще не его нобелевский цикл, что Белкер еще сыроват. Пока его определяют на Би-Би-Си - это очень почетный выход! Все равно шведы через голову старца никаких премий не вручают.

- И если он не согласится?

- То тогда ты отдашь ему послание от старца!

- А если согласится?

- То тоже отдашь ему послание от старца. Твоя задача - найти повод, чтобы всучить ему это письмо, в этом и заключается работа!

- Оно отравлено, - пробормотал я, побледнев. - А если он прочитает письмо при мне? Почему бы не отослать письмо по почте?

- Он не будет читать его при тебе. И письмо нельзя отослать по почте! Важно, чтобы Белкер вскрыл его лично. Хорошо! Не ори! Скажи конкретно, что тебя беспокоит?!

- Как это "что беспокоит?!" - я потерял от этой наглости дар речи. - Я должен отправить человека, поэта, ни с того ни с сего на тот свет и следом за ним сесть на электрический стул - и при этом ты спрашиваешь, что меня беспокоит?!

- Какой стул? Что ты плетешь? Отдай письмо и спокойно уходи - никто тебя не тронет. Я осуществляю прикрытие - но если меня дома не будет, прямым ходом на железнодорожный вокзал. Поезд до Вены, оттуда, не задерживаясь, едешь в Швейцарию. Я буду ждать тебя в аэропорту в Цюрихе. Мужчина раз в жизни должен быть мужчиной! Потом поедem к тебе в Израиль.

"Врет, гадина, не поедет ни за что, - подумал я, - да я бы и сам не поехал в Израиль из Висконсина. Поищите дураков!"

Глава восьмая. ПОЭТ БЕЛКЕР-ЗАМОЙСКИЙ.

Интересно вырваться из тела и взглянуть на себя со стороны. Но бывают встречи, когда не интересно глядеть на себя со стороны. О которых следует поскорее забыть, потому что никогда жалче, нелепее и бездарнее я не выглядел и, если можно, не буду!

"Ой, мамочка!" - успел я подумать и зажмурился, потому что на меня напал смерч. Это был не поэт Белкер, наверное, его окунули в молоко! То есть это был бывший поэт Белкер-Замойский, но не тот лысенький толстый еврей, похожий на футболиста московского "Спартак" Татушина, нет! Это был толстенный лысоватый еврей, за спиной которого был Город! За спиной стояла Новая Москва! Ах, что за ветры свободы веют над моей родиной! Какие коньки-горбунки, какие сказочники-ершовы вдувают дух победы в русскоязычных поэтов, превращая их в пылающие гейзеры! Такое не может быть от смертных, от человеков - такое бывает, если ты прикоснулся к своей Матушке-Земле, приналег на нее всем телом, облокотился... и где твой худосочный эмигрантский язык, изнеженность и блеклые страсти - ищи свищи! Вот, кажется, все - кончился поэт, зеркало от него не потеет, и в глазу черно, а проехался по России, шепнула она ему заветное словцо - и забулькал, засеребрился, уже и очерк путевой настроил, и творческий вечер в домжуре, и студентка-рабфаковка переписывает его от руки! Нет, живуч русскоязычный поэт, нет ему на Западе сносу, долго еще будет слышаться вдалеке его лихая разбойничья песня!

Я не говорил ни слова - только промямлил свою фамилию и сидел, как затравленный кот, не пытаясь ни возражать, ни поддакивать. Я вышел на деликатный любительский ринг против профессионального кулачного бойца, и это выяснилось сразу, после первых же слов, пока Белкер-Замойский еще приплясывал в углу и натирал боксерки тальком! На меня выливались водопады! Блестящие тройчатки, хрустальные вариации, которые я не успевал даже осмыслить до конца. Пугать Белкера было бессмысленно: в течение нескольких секунд он перечислил мне все способы, которыми я могу ему угрожать, почему выгодно (и кому), чтобы премию получил именно этот парвеню Менделевич, выкрикнул мне иронически, что припоминает мои рассказы, но с трудом, назвал меня с уничтожающей улыбкой стилистом, по пути сообщил, что половина петербуржцев принимает его за инкарнацию Волошина, что у "Конгресса" руки короткие, и при этом он, многоногий, носился, как бесноватый, по кабинету, вдруг начинал мычать или блеять, вставал на руки, срывал китель и показывал номер, под которым он шел в "Русском Конгрессе", потом останавливался, запрокидывал голову, начинал клекотать или прочищать поэтическое горло, сыпал рифмами, забывая о

моем присутствии, делал какие-то реверансы старцу, говорил "Андрей Дормидонтович, вы должны меня понять, сейчас другие времена, господин Ножницын, другие веяния!". Я стеснялся даже покашливать, я спрятал ноги под стул, чтобы он не пробежал по ним взад и вперед. Несколько раз я, завороченный, совершенно отключался, так что ему приходилось чмокать мне на ухо и пускать пузыри. Один раз он даже пощекотал меня на бегу! "Крещусь прямым крестом, - кричал он, - вот так, конфеточка моя убогая! А вы и вправду думаете, что старец - пророк?! Не смешите! Покажите мне человека, покажите мне поэта! Менделевич не иллюминат, а холоп! Кто же сегодня не пишет бабочкой! Цып-цып, крылышки сложил ангелок! России нужен певец тьмы! Дайте мне такого гения, и я сам отнесу его на руках в Стокгольм! Конгресс- это тончайшая игра! Даже сам Андрей Дормидонтович не знает, кто же дергает за веревочки! Выпить хотите? Нарзану? Пятьдесят третий номер? Странно! Вы производите впечатление язвенника! Шучу. Хотите, я вам почитаю?!"

Глаза Белкера были совершенно застывшими и в нашем разговоре не участвовали, зато неопрятные остатки волос поминутно вставали дыбом.

"Правильно! - понимающе визжал он. - Черную меточку мне принес! Соловушка изысканных манер! Пятому номеру "Конгресса"! Гриша не придумал ничего лучшего, чем напугать меня этим недоумком. Замоиского пытаются брать за горло! Он не понимает, что стоит мне моргнуть..."

Нужно было хоть что-нибудь произнести в ответ, но мне катастрофически было ничего не придумать. Потом меня осенило. Я открыл глаза и встал.

- У вас свои зубы? - спросил я.

- Да, - ответил он, - почти все свои. Почему вы спрашиваете?

"ВАМ ХОТЯТ ПОМОЧЬ!" - сказал я. Белкер-Замоиский скосил на меня глаз.

"ВАМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В МОСКВУ", - губы его начали расползаться.

"ДЕЛО В ТОМ, ЧТО АНДРЕЙ ДОРМИДОНТОВИЧ ПРИНЯЛ ПРИГЛАШЕНИЕ СТАТЬ МИНИСТРОМ РОССИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ И В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ НАСОВСЕМ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ ИЗ ВИСКОНСИНА В НОВУЮ МОСКВУ".

- Какого министерства? - спросил Замоиский отстраненно. Мне показалось, что на глазах он становится ниже ростом.

"АНДРЕЙ ДОРМИДОНТОВИЧ ПРИНЯЛ ПОСТ МИНИСТРА ОБЩЕСТВЕННОЙ СОВЕСТИ".

Жилы у Замоиского на шее побагровели.

"ВАМ ПРОСИЛИ ПЕРЕДАТЬ ВОТ ЭТО ПИСЬМО". Я вынул письмо, подчеркнуто медленно положил его на стол, повернулся и пошел к выходу.

Жизнь, смерть, сегодня ты, а завтра я. Я не рассчитывал, что я надолго переживу Замоиского. Я был абсолютно выжат. Никакой яд не убивает мгновенно - у него еще будет время раскаться и решить свои отношения с КЕМ НАДО! Перед выходом я все-таки оглянулся и скосил на него глаз.

Белкер-Замоиский стоял руки в боки и лучезарно улыбался. "Ну иди же,

иди, - весело сказал он, - министром общественной совести, держи карман пошире! На белой лошади въедет в Кремль, хоругви уже готовят. Ничего этого никогда не случится! Он сидит на своей американской даче, и детки у него американцы - Егор, Платон и Сидор, и женки их американцы! Вы его там видели? А я видел! Я его как облупленного знаю, у него трусы в зеленый горошек". Белкер сунул мой голубой конверт в пепельницу, поднес к нему зажигалку, и конверт ярко вспыхнул.

- Пахнет! - озабоченно сказал нобелевец. - Еще как пахнет, столько мышьяка переводят!

В кабинете явственно запахло чесноком. Конверт почти догорел, осталось еще несколько клочков бумаги со стариновскими каракулями.

- Сам конверты готовит! - с уважением сказал Белкер-Замоиский. - Третье покушение за месяц, господин отравитель. Потом всех до единого сдают полиции. И вас сдадут - идите, идите, уже, наверное, заждались! Не верите?! А Вы проверьте, сделайте опыт. Придумайте чего-нибудь, неужели и на это не хватает ума?! Цветочницу вперед себя пошлите!

Я вышел, пошатываясь. Я старался не бежать. Кажется, за мной никто не следил. Если Белкер был прав, то возвращаться к себе на квартиру было крайне глупо. В голове была пустота и отчаяние. Наконец я решился позвонить Ависаге, но трубку никто не поднял.

Я не стал посылать туда для проверки автофургон с тюльпанами. Полицейские машины не стояли у подъезда моей любимой, и я не следил за ними из окна соседней кофейни. Для любви характернее всего то, что она тоже кончается.

Больше всего в женщинах я ценю их тягу к предательству. Я вообще люблю предательство, не знаю почему, но люблю. Были еще какие-то мысли, но все вялые и необязательные.

Если женщина к восемнадцати годам не вышла замуж, то глупо надеяться, что ее удастся приручить. Смешной анекдот вертелся в голове, но я не мог его вспомнить.

Еще через час, поменяв несколько машин, я ехал на юг. Границу я решил пересекать в Югославии. Только кретин может верить в будущее. Любви нет. Была раньше, но сейчас нет. У меня ни к кому нет претензий. Никаких обещаний выполнить нельзя. Их и не надо выполнять. Вечной любви не существует. Брака быть не может. В душе у всех грязь и мрак. В рамках русской культуры отношения полов невозможны. Чем раньше себе это уяснишь, тем меньше будет иллюзий. Скоро на всей земле будет швейцарский коммунизм. Остался один час. Там на улицах не плюют и собаки не гадят. На туристах бирка "право на пребывание в Швейцарии истекло". Через сутки она начнет светиться. И любой швейцарец на веревочке отведет вас в полицию. На мне бирка "право на жизнь истекло". Осталось совсем немного.

ЭПИЛОГ

I (Лярош Фуко)

Лярош Фуко познакомился с одной очень интеллигентной девушкой, но она его выгнала, потому что он при ней пукнул. Господи, я твой усталый раб. Время диктует свою прозу. Четыре недели, как мы перешли на положение абсолютных нелегалов. Член "Конгресса" Шприц отвез нас на явочную квартиру к товарищу по партии - румынской девушке Вирсавии, которая промышляет проституцией и прячет нас в подвальном помещении от маккавеев. Она - румынка духа. Нас трое, это бывшие сотрудники "Иерусалимских хроник" Григорий Сильвестрович Барский, Шкловец и я.

"Гриша, скажите, почему все-таки все явки у проститутток? Это вы проработали? Какой еще мудак мог подготовить такую нелегальную сеть?!"

-Так спокойнее, - говорит Григорий Сильвестрович, не отрываясь от машинки, - к ним реже заходят маккавеи.

Григорий Сильвестрович похож на узника знаменитого замка Иф. Целыми днями он сидит и равнодушно пишет роман "Русский романс". Я бы назвал его окончательным русским романом. Я еще не все прочитал. Квартира товарища Вирсавии где-то в окрестностях Хайфы. У проститутток всегда много комаров. Даже если нет окон. Они откуда-то влетают и больно кусают в ноги. Приходится носить толстые носки. Из окна уборной очень исторический вид: слева гора Гильбоа, где в свое время Гидеон разбил мидианитян или мидийцев, которые потом станут персами и Персидской империей. Царь Кир был мидийцем. Я сам иногда чувствую себя мидийцем, но на это полагаться нельзя. А слева виднеется гора Тавор, известная русским как Фавор. Вся путаница Фавор и Тавор происходит оттого, что в греческом алфавите нету буквы "т", и таким образом Тамар стала Фамарью, Бейт-Лехем превратился в Вифлеем, а Вирсавией стали сразу трое: мать царя Соломона, которой я посвятил три главы, город Беер-Шева, столица нового маккавейского царства, а также квартирная хозяйка, у которой мы прячемся несколько последних недель. Историческое прошлое догоняет историческое будущее и стучится в окно уборной. Сама Вирсавия ходит по квартире в панталончиках чуть ниже колен. В таких трусах раньше ходили борцы во французском цирке. Вирсавия похожа на знаменитую картину художника Рубенса "Земля и Вода". В Иерусалим я уже поднимался дважды. Новая власть. Маккавейская республика! Женщин на улпцах не сыскать. Большинство мужчин в темной маккавейской форме. Каждая наша поездка может кончиться принудительным лечением, но "Конгресс" требует, чтобы любой ценой была обеспечена победа Менделевича. За это нам обещан безопасный выезд и гражданство в Б. Но Шкловец не поедет. Он просит, чтобы мы оставили его у Вирсавии. Ей пятьдесят лет, но выглядит она старше. Она - двойной агент. Шкловец тратит па нашу хозяйку все наличные боны. По вечерам мы вместе смотрим чрезвычайную сводку новостей и

предварительные этапы конкурса. Вирсавия и Шкловец сидят, держась за руки. Хозяйка знает, что Шкловец тратит на нее деньги из партийной казны, и очень за него переживает. Психологию девушек понять нельзя.

- Гришка, вы заметили? Этот мерзавец болеет за Меерзон! Это против правил.

- Шкловец! Тебя распнут. Свои? Свои или чужие - кто теперь свои! И не пытайся, гнида, нас предать: ты для них отрезанный ломоть. Вот читай: "Все ковенцы дали общую клятву маккавеев". Это прежде всего не трахаться.

- Врете!

- Ха-ха, чего мне врать, - равнодушно дразнит его доктор Барский, - черным по белому написано.

- С женщинами?! - в ужасе переспрашивает Шкловец.

- Я же тебе читаю - "ни с кем"!

- Дайте мне еще три бона, я верну!

Шкловец берет три оранжевых маккавейских бона и исчезает за дверью. Боны Григорий Сильвестрович аккуратно записывает на его счет. По утрам член "Конгресса" Шприц приносит еду и свежие новости. Шприц говорит, что арабы тоже перешли на нелегальное положение. Может быть, они тоже сидят у проституток. Совершенно не умею спать в комнате с незапертой дверью, а у Вирсавии все время посетители, и Шкловец караулит гостей под дверью.

- Шкловец, давайте спать!

- Я чувствую, что клиент сейчас уйдет.

- Скажите Вирсавии, чтобы она никого не назначала "на время", только "на миспарим". В стране гражданская война - не время шлаться к шлюхам!

- И не место! - глухо говорит Григорий Сильвестрович, не поднимая головы от машинки. - Передай ей, хватит ебаться, пусть лучше суп приготовит: опять был мясной салат с майонезом, а первого совершенно не носят. Мне тяжело без первого.

II (Первый тур)

Пропуск истекал в двадцать три часа - в запасе было еще минут двадцать. На театральных ступенях кроме меня торчал возбужденный Милославский - уже в маккавейской форме с двумя топорами на рукаве. Его охраняло несколько крепких лбов, похожих на мужские модели из "Бурды" - полные израильтяне, индекс двести. На время конкурса было объявлено перемирие, и главный раввин дал свои гарантии: в зал охранников не впускали. Охрана была вооружена биопистолетами "Москва". Преимущество биопистолетов "Москва" в том, что от них никто не умирает, человек может даже остаться евреем, но поведение становится неадекватным. Сегодня происходил тренировочный тур по просьбе телевидения, но обстановка складывалась скандальная. В жюри, кроме министра Переса и старца Ножицына, были

еще маккавейские раввины, пара Донатовичей из Парижа и известный академик Аверинцев. Аверинцев все время с любопытством вертел головой. Первый скандал состоялся из-за Юза Алешковского, который постоянно гнусно матерился, а единственным условием, которое поставили маккавеи, было не употреблять названий гениталий, как будто их не существует, даже иносказательно, в том числе и губы. И половину хороших стихов пришлось зарезать. А Алешковский все время выкрикивал слово "хуй" и порядком всем надоел, пока его, наконец, не увели. Но на этом неприятности не кончились - перед началом тура арестовали несколько человек, в первую очередь Бауха, но Григорий Сильвестрович не переживал, сказал, что пусть посидит, наберется литературного опыта, которого ему недостает! Потому что Баух шестнадцать лет подряд работал в Кишиневе шофером, и было не до стихов. Но потом забрали самого Менделевича и сильно избили, потому что он, разнервничавшись, заговорил по-турецки. Вытаскивать его из участка пришлось ехать самому главному раввину. Менделевича автоматически перевели в следующий тур, но плохо было, что он совсем не размялся, а он все-таки откровенно боялся провала. Вырядился Менделевич ужасно. Больше всего его портил галстук. Даже старец, который делал на Менделевича ставку, перекрестился и в сердцах плюнул на пол. Место Бродского пустовало, но Лимонов сегодня в зале был. Григорий Сильвестрович делал все возможное, чтобы его сняли с первого тура, но пока это не удавалось. Виза в Иерусалим у Лимонова была в полном порядке, даже лучше нашей. Вообще выход в город Григорию Сильвестровичу был запрещен, но по залу он мог передвигаться беспрепятственно, и я не успевал следить за интригой, которую он плел. От либералов сегодня читали Копытманы из Министерства юстиции. Говорили, что они неплохо пишут, и их рекомендовали оба президента - и нынешний, и опальный. Поэма, которую они читали, была в том смысле, что они ненавидят березы и всегда верили, что существуют места, где на пятьдесят тысяч километров вокруг нет ни одной березы. Чтение было очень красиво поставлено. Если кто-нибудь видел, как поют сестры-близнецы Бузукины, когда одна поет, а вторая в это время притопывает ножкой, и получается очень эффектно. Еще читал Войнштейн, но с ним было некоторое недоразумение. Он среди приглашенных был единственным настоящим поэтом, и совсем не приглашать его было неудобно. Но он был с физическими недостатками, и министр культуры Перес сказал, чтобы на второй тур он даже не рассчитывал. Да и читал он совершенно по ту сторону, а половина зрителей была израильтянами, индекс двести, и Войнштейна понимали плохо. А сам он не до конца понимал, где находится. Главное, что он постоянно подбегал к Менделевичу и спрашивал, кто его повезет после конкурса домой, чувствуя, что его забудут. Наконец к вечеру Григорий Сильвестрович притащил в жюри справку, что Лимонов и Белкер-Замойский генетически не чистая раса, не евреи и вообще никто, и обоих повели на экспертизу. Белкер приехал на конкурс в форме православного маккавея - с окровавленным крестом на погонах. Я подумал, насколько бессмысленным было наше пребывание в Будапеште, и грустно

вздыхнул. Несколько жизней назад. Забытый сон. "Приехал, гад! - сказал Григорий Сильвестрович, набычившись. - Но мы еще поглядим, чья возьмет! А вот и Андрей Дормидонтович к выходу попер, да и за нами автобус подали. Рабочий день окончен!"

ВОЙНШТЕЙН (*подбегает к Менделевичу*). Так вы, юноша, отвезете меня в Яффо? Вы, кажется, тоже участвуете в поэтическом состязании?! Как ваша фамилия?

МЕНДЕЛЕВИЧ. Менделевич!

ВОЙНШТЕЙН (*жмурится*). Нет, ей Богу, никогда не слышал! Так не забудьте меня отвезти.

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ. ...хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй...

АКАДЕМИК АВЕРИНЦЕВ (*оглядывает охрану маккавеев и все время с любопытством вертит головой*).

III (Страсти)

ШКЛОВЕЦ. Не пугайтесь! Вы спите? Барский спит, а мне во что бы то ни стало нужно посоветоваться.

Я. Шкловец, что с вами? Вы заболели?

ШКЛОВЕЦ. Хуже. У меня в груди. Слушайте, у вас так было, что вы без одного человека можете умереть? Только по-настоящему, разорвать себя на части и умереть?

Я. Давайте я вам дам еще три бона!

ШКЛОВЕЦ. Как вам не стыдно! Это не Вирсавия. Вирсавия - добрая, несчастная женщина. И она знает, что я влюблен совершенно в другую!

Я. В кого же это, черт подери?!

ШКЛОВЕЦ. В поэтессу М. - не хочу здесь называть ее имени.

Я (*зевнув и сев в постели*). Как это вас угораздило?

ШКЛОВЕЦ. Мне надо ее видеть! Дайте мне свой пропуск на один день, на один час! Я хочу поклониться ей в землю.

ГРИГОРИЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ (*громко, из темноты*). Я тебе такой пропуск дам, гнида! Попрешься вместо конкурса к жене, а она тебя сразу выдаст властям! А заодно и нас: ковенские жены любят порядок.

ШКЛОВЕЦ (*плаксиво*). Я не знаю, что со мной: мне надо видеть Меерзон. Это главное, чем дышать.

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ (*с насмешкой*). Она же бухарка! Ты зря надеешься: бухарки никому не дают. Они и бухарцам не дают, у меня точные сведения. Очень боятся родителей. Зря будешь каблуки топтать!

ШКЛОВЕЦ. Я вас вызову на дуэль! Она превосходнейшая поэтесса, она - талант!

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ (*с изумлением*). За что на дуэль? Я вам обоим желаю всего хорошего. Хочешь, я тебе ее сюда доставлю?! Кстати, это мысль! За меня не беспокойся: по мне лучше одной маленькой писательницы завести двух...

ШКЛОВЕЦ (*нерешительно*). Как же это вы ее доставите?! Неудобно!

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ *(решиительно)*. Чепуха! Скажешь, что мы твои братья, а Вирсавию выдашь за маму. И шуму от нее будет поменьше.

ШКЛОВЕЦ *(гордо)*. Бухарка Меерзон побьет вашего Менделевича!

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ *(вздыхает)*. Вот ты себя и выдал, предатель. *(Про себя)* Я бы и сам поставил на бухарку.
(В дверь стучит Вирсавия и приглашает всех смотреть Национальное телевидение. Шкловец уходит.)

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ *(ему вслед)*. Нельзя тебе, Шкловец, в Иерусалим. *(Сочувственно)* Совсем обезумел. Ты не помнишь, как его зовут?

Я *(пожимая плечами)*. Я забыл.

(Возвращается Шкловец.)

ШКЛОВЕЦ *(стесняясь)*. Дайте еще три бона, я верну!

ГРИГОРИИ СИЛЬВЕСТРОВИЧ *(с недовольным видом записывает долг в блокнот)*. Товарищ по партии называется! Румынка до мозга костей. Раздевает парня до нитки!

IV (Парад поэзии)

Утром должны были репетировать шествие по городу на лошадях. Сначала возражало министерство национальной чистоты, потому что лошадь - это все-таки лошадь, конь! Это уже не средние века, чтобы лошадь. И для маккавеев лошадь - не чистое животное. Но и сами поэты не могли до конца решить, кто же на ней поедет. Решили поначалу, что повезут двух женщин - бухарку Меерзон и Владимову, вместе ровно центнер, но Менделевич устроил какую-то невероятную склоку. Он орал:

"Шмакодявку на коня - только через мой бездыханный труп! Тем более обеих. И это против техники безопасности. Посмотрите, какая кляча!" Лошадь действительно была неважнецкая. Ее привел откуда-то из либерального кибуца трибун либералов поэт Дектер. Дектер божился, что лошадь стоила ему двести бонов, но все знали, что это блеф, что он невероятный выжига и двоих теток на его лошадь никогда не усадить. Главный распорядитель, профессор-маккавей Сигаль, начал подобострастно шептать, чтобы на ней ехал сам Ножницын, и вроде бы все согласились, "и нашим, и вашим", но старик из-за геморроя не хотел об этом и слышать. В конце концов через город повели голую лошадь в голубой попоне, и к ней приделали крылья в смысле Пегаса, что как бы ее готов оседлать победитель. За ней шла группа второстепенных поэтов в полосатых нарядах, символизирующих поэтическое трудолюбие, а дальше уже шли бронетранспортеры с маккавеями. Профессор Сигаль и Менделевич ехали в головном транспортере, и я понял, что судьба конкурса решена. К сожалению, я ошибся. Утром по телевидению выступал генерал-маккавей Эдуард Кузнецов (Смит). Он угрюмо сообщил, что по его настоянию женщины-поэтессы к заключительным турам допущены не будут, потому что

за конкурсом следит много исполняющих-маккавеев и на них плохо действует вид возбужденных поэтесс. Кроме того, шмакодявка своим альковным голосом нервирует бойцов охраны театра. "Охраны от кого! - начала визжать Меерзон. - Что я, перед ними голая, что ли, собираюсь выступать?!" Снова пришлось вмешаться главному раввину, и Кузнецов (Смит) выступил с извинениями, но бухарка Меерзон из-за всех этих распрей стала безумно подозрительной. Во время обеда я заметил, что она не притрагивается ни к одному блюду, не дав попробовать стоящему за ней голодному маккавею-охраннику. Впрочем, кормили довольно прилично, но без излишеств. Войнштейн даже наивно крикнул, что поэт при жизни может обходиться простым бульоном, но ему вовремя заткнули рот. Я так до сих пор еще ни разу не увидел ни в зале, ни на сцене своего друга Арьева, но я слышал, что он прошел во второй тур и очень понравился старцу. Дома нас ждал неприятный сюрприз:

Шкловец лежал еле живой в постели, и бледная Вирсавия растерянно вокруг него хлопотала.

-Вы слышали?! - прошептал Шкловец чуть слышно. - Этот подонок перед всей страной назвал ее с экрана грязным словом!

Я многозначительно взглянул на Барского. Мы совсем упустили из виду, что утренний скандал с лошадью транслировался по второму каналу.

- Я убью его, я поклялся! Только бы мне для этого выжить. Ну, как там она, ведь она невероятно ранима!

Мы успокоили Шкловца как могли, но пришлось обещать, что мы возьмем его на финальный тур, а пока ему нужно беречь силы.

- Я возьму его на свой риск и страх, - обещал Григорий Сильвестрович, - но чтобы непременно снял бороду и шляпу и как следует постригся. Если мерзавец действительно влюблен, пусть едет бритым.

V (Что такое поэзия)

Я не всегда очень ясно объясняю. Но сначала я думал, что поэзия - это не больше, чем жизнь. Что это свист налившихся льдинок. Но это до конкурса. Теперь я вижу все иначе. Теперь я понимаю, что поэзия это не тогда, когда пишут в рифму. Поэзия - это ветер с моря. Поэзия - это убить Менделевича. Потому что она такая маленькая, такая беззащитная, как корюшка, жопа вся в родинках, - вот что такое поэзия. Стих бьет стих.

- Жидовочке, знамо, не вручамо! - говорит старец Н.

"Какое на хер "не вручамо", Андрей Дормидонтович! Это не жида, это ваше время кончилось! Вот что такое поэзия! Это гладиаторский бой на литературную смерть! Когда вся страна живет маккавейскими буднями, когда горят костры духовной свободы и последние заблудшие овцы робко примеряют на себя маккавейские знаки отличия, в этот момент, в последнем зале на Земле, кучка убогих, слепых и хромых творцов уводит нас в такие

дали, в которых мы просто никогда не были! И не приведи Бог там когда-нибудь побывать, такая там жуть и мизерабль - вот что такое поэзия".

ВЕДУЩИЙ. Слушайте, почему бывает Дед Мороз, но никогда не бывает Бабы Мороз или как там от феи мужской род?!

ВСЕ ПОЭТЫ. Фей!

ВЕДУЩИЙ. Не бывает такого, "фей"!

ВСЕ ПОЭТЫ (с удивлением переглядываются).

ВСЕ ПОЭТЫ. Мы-поэтический процесс!

Они - поэтический процесс!

Ты - поэтический процесс!

Вы - поэтический процесс!

Он - поэтический процесс!

Она - поэтический процесс!

Оно - поэтический процесс! (Уходят.)

ГОЛОСА ИЗ-ЗА СЦЕНЫ (*речитативом*). Мы все - нобелевцы! Весь поэтический процесс! Весь процесс -поэтический! Поэтический процесс - весь! Процесс весь -поэтический! Поэтический весь - процесс! Больше ни хера не придумать - уже глубокая ночь! За окном бряцают маккавеи!

VI (Заключительный тур)

Когда зал был уже практически полон, в ложе жюри начали появляться люди в желтых тогах. Первым по проходу шел министр культуры Перес, просто, без чинов, и под руку с ним шел подсохший старик в несвежей тоге, прибывший на конкурс из самой белокаменной Новой Москвы. Представляя его, профессор Сигаль слегка запнулся - и не мудрено! Эти жесткие ефрейторские усы, маленькую выбритую голову легко узнавал на улице каждый школьник! По репродуктору объявили, что присутствующие присутствуют при историческом моменте для маккавейской культуры - выборе кандидата на самую престижную премию прошлого. У старика дико болел желудок. Он проклинал себя за острую арабскую пищу, которой он налопался в гостях у главного раввина, но неудобно было отказываться. Кроме того, ему опять пришлось изображать из себя военного грузина и даже плясать что-то с носовым платком. От стихов его сильно тошнило. "Сидай, Булат, сидай, у ногам правда немае", - сказал ему Перес с сильным польским акцентом. Старик машинально сел.

Из полных израильтян, кроме маккавеев, был еще какой-то обветренный дедушка из киббуца с протезом, зато русский эстеблишмент на этот раз был представлен неплохо, были даже женщины, но совершенно маккавейского толка. Один за другим в тогах шли по проходу Маргарита Семеновна из издательства "Алия", три самолетчика, рав Фишер в тоге и желтой шляпе, Азбели-Воронели, шел рав Максимов, совершенно сбитый с толку происходящим, шла Алла Русинек-старшая, чьих темных связей побаивались

даже маккавей, семенящей походкой промчался комиссар-инспектор из ковенской структуры, несколько приезжих академиков, но центр ложи, красное плетеное кресло председателя, все еще пустовал. Наконец зал начал завывать, и я заметил, что по проходу идет старец Ножницын. Он прошел, не поднимая головы, сосредоточенно глядя в пол. Видно было, что на ходу он что-то пишет. Это был крепкий еще, злой старик, видимо, страшный деспот.

Сегодняшний день "десятка" начинала с переводов. Читали на трех сценах, и чтобы всех услышать, приходилось много побегать. Ведущий Сигаль зачитал письмо от короля Португалии - о влиянии бухарки Меерзон на современную христианскую литературу, потом показали слайды, как она едет с королем на водном велосипеде.

Белкер-Замойский переводился в Германии, я сам его переводов никогда не читал, но говорили, что немцам это очень и очень! И Белкера ценил сам Бродский. Он входил в ту легендарную ахматовскую четверку вместо опростевшего Димы Бобышева. Бродский сказал: ты будешь "фактически четвертым, как апостол Павел", хотя его к Ахматовой при жизни так ни разу и не пустили. Из этой же четверки сегодня читал Евгений Рейн. "Мы и она", - замогильным голосом произнес Рейн. Там в таком смысле, что "она" сидит перед ними в Комарове на оттоманке, перед всей четверкой, но еще без Белкера, и постепенно белеет и превращается в голубой мрамор. Ему похлопали, но не слишком. А шмакодявка обычно начинала с "Зимой в Челябине", потом она читала "Русские девушки Люся и Тася", и этот порядок в течение всех трех туров практически не менялся. Только сегодня еще добавили переводы. В обе стороны, кто в какую может. Менделевич переводился формально меньше всех, собственно, он успел покорить еще только русский восток и израильскую публику, но в Европе его до сих пор еще знали мало. Ведущий профессор-маккавей Сигаль, представляя Менделевича, сообщил, что это преемник Хикмета, и тоже для достоверности показал фото.

С преемником творилось что-то непонятное. Читал он из рук вон плохо. Слишком много с ним все носились, только и слышишь "Менделевич, Менделевич, улица Менделевич, кинотеатр Менделевич", и в результате Михаил совершенно перестал себе доверять. Я думаю, что в глубине души у него было предчувствие, что даже если всех отравят - и шмакодявку Меерзон, и Губермана, в общем - всех, даже в этом случае что-нибудь помешает ему выиграть. Он все читал плохо, даже "Цепи". Я заметил, что Григорий Сильвестрович несколько раз поморщился. И не он один. Белкер-Замойский между тем срывал шквал за шквалом. "На котурнах" он читал в греческом стиле, сидя на корточках, парализуя громадный зал своим тревожным голосом. И на его фоне Менделевич со своими трогательными галстуками был как уточка в рассказе "Серая шейка". Полынья сжималась, сердце мое зануло от нехорошего предчувствия. Пока первой по очкам все-таки шла бухарка, и Григорий Сильвестрович захрипел мне на ухо, что пора с этим что-то делать. Я прошелся по залу и вызвал всех наших в фойе на летучее совещание. В зале сегодня были Аркадий Ионович, исполнительный

Вайскопф и мой старинный знакомый Борис Федорович Усвяцов. Все трое сидели в первых рядах и изображали из себя харьковских физиков. Бориса Федоровича после маккавейского переворота я встретил в первый раз, выглядел он неплохо, может, чуть заторможенным. При инструктаже он тоже вел себя странно. Решено было послать всю тройку за кулисы, а там будь что будет! Григорий Сильвестрович несколько раз повторил Усвяцову: "Ты должен изолировать шмакодявку!"

- Ликвидировать?! - тупо произнес Борис Федорович, глядя в одну точку.

- Да нет, изолировать, идиот! - заорал доктор Барский, - не могу же я все делать сам. Вот тебе и христианский кибуц! - недовольно процедил он мне. - Угробили парня.

Но я подозревал, что наш Шкловец не одинок и Борису Федоровичу тоже больше нравится шмакодявка Меерзон, во всяком случае, бороться против нее Борис Федорович не хочет. За кулисы для вида он побрел, но от него никакого прока я не ждал, и я не думал, что осторожная Меерзон его близко к себе подпустит. Чтобы справиться с Меерзон, правильнее было использовать своих людей, но из числа самих участников. Вместо Войнштейна, которого не пропустили в заключительный тур, потому что министр культуры Перес вообще не любил горбатых, вышло два кишиневских прозаика. Оба абсолютно надежные члены "Конгресса", одобренные лично старцем. Они пописывали стихи в основном для себя и на победу особенно не рассчитывали. И был еще Арьев, который шел пятым или шестым, но уже несколько раз предлагал свою кандидатуру добровольно снять. Григорий Сильвестрович объяснял это тем, что хороший партиец должен уметь приносить себя в жертву, но я-то знал, что дело в другом. Арьев все три тура шел немного выше Милославского, и с этим ему было не справиться. Даже по отношению к врагу Арьев не мог нарушить юношеских клятв! Зато пока читал сам Арьев, Юра Милославский просто-напросто уходил в сортир и внимательно разглядывал себя в зеркало. В монастыре по уставу не было зеркал, и Милославский по себе истосковался. "Подбородок хорош, - удовлетворенно подумал он, - видно, что мужчина!" Он сделал себе в зеркале несколько рож, наморщил лоб и плотнее сжал челюсти. Так его и застал Лимонов, демонстративно продефилировав к кабинке и по дороге с отвращением плюнув. Слышно было, что на стене туалетной кабинки он что-то со скрипом пишет. "Писатель!" - брезгливо крикнул Милославский, хлопнув за собой дверь. "Сплошной Харьков! - пробормотал он про себя, - не стоило так далеко уезжать!" Во второй половине дня я снова перебрался поближе к сцене, где читал Менделевич. Он немного выровнялся, но теперь он постоянно оглядывался назад, в глубь сцены, и победой тут, разумеется, не пахло. Григорий Сильвестрович приказал мне в перерыв пойти его подбодрить, но Менделевич только отмахнулся и сказал: "Подите к черту, не до вас, идите лучше послушайте эту дуру". Бухарка опять начала читать "русских женщин", а в зале началось что-то невообразимое. Я понял, почему министр Кузнецов жаловался, что она нервирует охранников. "Сделай что-нибудь!" - почти взмолился Григорий Сильвестрович. Но что тут можно

было сделать! Это был триумф. Я заметил, что какой-то бесноватый выбросил на сцену розы, но не букет, а целый куст с бурой землей. У меня внутри все опустилось. Я вообще совершенно забыл про Шкловца, про то, что утром мы подвезли его к запасному входу и одним из первых запустили в нобелевский зал. До начала чтений он, видимо, прятался в оркестре. Цветы Шкловец выдернул из фарфоровой вазы в вестибюле. И счастливая Меерзон, такая маленькая, как конфетка, в кружевном платице, без возраста, настоящая весна, ужасно мило сморщила носик и послала Шкловцу воздушный поцелуй. По правилам ее могли немедленно дисквалифицировать, я видел, что Григорий Сильвестрович понесся к маккавею-инспектору, и инспекторская ложка загудела, как настоящее осиное гнездо, но черта с два они могли сейчас решиться ее тронуть. Зал совсем обезумел.

После бухарки снова читал Белкер-Замойский, и его тоже зал слушал прекрасно. Зрители были уже основательно накалены. "Язона" он читал вместе со всей беснующейся толпой! А потом еще заставил себе дважды стоя бисировать. Я поймал себя на том, что тоже стою и тоже Белкеру хлопаю, но удержаться было невозможно! Молдаване выкинули белые полотенца и больше на сцену не выходили. Милославский раскланялся публике, и его пересадили в ложу жюри. Следом за ним сразу сошли Арьев и очень раздраженный Губерман. Слово было за Мишкой Менделевичем. Все решал последний раунд! И к чести сказать, Менделевич провел его безукоризненно! Казалось, что этот зал уже ничем пронять нельзя, все-таки и распоясавшийся Белкер-Замойский, и отчаянная бухарка - оба читали классно. Но неожиданно зал затих: в турецком костюме, в тюрбане, с голой грудью на сцене появился Менделевич! Последнее стихотворение он читал по-турецки:

Смерть и бессмертье - два близнеца,
Это усмешка второго лица...

Я до сих пор помню его наизусть. Он его полупел. Без лютни, без гитары, безо всего. Низким разодранным голосом. Я вообще раньше не верил, что он умеет по-турецки, то есть я слышал, что он закончил азербайджанский радиотехнический техникум, но и по-русски он говорил тоже очень чисто, как джентльмен. В зале снова наступила абсолютная тишина. Слышно было, как всхлипывает старый дедушка из кибуца, у которого свинтили протез, пока он ходил в мужскую комнату. Слышно было, как скрипят стальные зубы разочарованных харьковчан. Соискателей премии теперь оставалось только трое - очередь была за жюри.

VII (Голосование)

Когда я вернулся в зал, проголосовало уже пятнадцать человек. У Белкера-Замойского было восемь голосов. За Менделевича проголосовали только старец Ножницын, для почина, рав Фишер и Зинник с Би-Би-Си, который

тоже пописывал стишки, но очень не любил Белкера. Таким образом, шесть голосов у шмакодявки и три у Менделевича. Я поискал глазами Барского, но его нигде не было видно. Я оглянулся на дверь, пора было давать деру. Белкеру оставался один голос - я думал, что с Менделевичем все было кончено. Еще проголосовали не все поэты, выбывшие из последнего тура, но спасти Менделевича и нас могло только чудо! Старец Ножницын, подперев голову, развалился в "вольтеровском" кресле. Вид его предвещал недоброе! На очереди был Богдан Донатович из Парижа. Мадам Донатович подняла мужа из кресла, поправила на нем слуховой аппарат и тихонько подтолкнула его в сухую диссидентскую спину. Белкера мадам Донатович не выносила на дух, но и за Менделевича они проголосовать не могли, потому что он был ставленником Ножницына. По принципу наименьшего зла... "Меерзон" - высветилось на табло. На Мишу Менделевича было больно смотреть! Поэт - беги славы, не верь толпе! Если бы эти людишки знали, что поэт Менделевич был первым, кто начал писать самолетиком или "желтой бабочкой"! За много поэтических лет до "рыжего, перевязанного шарфом"!

Из кресла поднялась Маргарита Семеновна из издательства "Алиа", бывший работник Кремля, - на решение одна минута! Пассив - шмакодявка посвятила ей несколько женских стихотворений, актив - министр Перес, сидящий в метре от нее, никогда не любил бухарцев! "Менделевич" - загорелись голубые буквы! Восемь, семь, четыре. Положение Менделевича оставалось безнадежным.

В первом ряду министр Перес энергично перешептывается с архимандритом Легурским и профессором-маккавеем Сигалем, городским инквизитором, еще в более терпимые времена отсудившим у живой матери двух разнополых малюток! Я чувствовал, что решение на этот раз будет парным. При этом для меня и Легурский был мало вычислим: на моей памяти он уже сменил пять конфессий, каждый раз выступал с серией разоблачений и публичным отречением - и в какую фазу его застал переворот маккавеев, я бы сказать не решился. Честно говоря, я думал, что Сигаль выберет Белкера-Замойского, потому что его общее отвращение к русским женщинам было слишком очевидным и бухарка Меерзон со своим завыванием про "девушек Люсю и Тасю" каждый раз выводила Сигалья из равновесия. "Менделевич" - новыми красками загорелось табло. Теперь архимандрит сложил ладони вместе и поднял к небу узко поставленные глаза - это была хитрая бестия! "Менделевич" - подряд третий раз загорелись буквы! Восемь, семь, шесть - зал начал издевательски хихикать, но общее настроение сейчас было в пользу армяшки: во-первых, он был в роли догоняющего, а во-вторых, уж очень забавно Менделевич бегал по сцене, заламывал руки, потом забежал в мужскую гримерную и выглядывал оттуда потерянный и бледный. Тяжелым, неуверенным шагом к пульту вышел Юрий Милославский. Только сейчас я заметил, как поэт раздался на крутых монастырских харчах. Он оперся на дубовую палку с монограммой и из-под дымчатых зеленоватых очков презрительно уставился в зал. Да, не этот зал грезился ему когда-то! Не этот! Голова Менделевича неожиданно появилась из мужской комнаты и так же

внезапно исчезла. Милославский криво усмехнулся. Жизнь прожита, обратно не воротишь! Он вспомнил простреленную дверь, вспомнил похищение довольных сабинянок, причитание мамы... "Менделевич" - еле слышно начал скандировать зал. "Менделевич" - нажал Юрий Милославский. Он густо покраснел и, ненавидя себя за это, уселся в пустое кресло рядом с легендарным поэтом Булатом О. Последнее, что он успел заметить, придвигая к себе тяжелое кресло, были благодарные женские глаза из четырнадцатого ряда. "Хорошо хоть за Лимонова голосовать не пришлось!" - пролетела предательская мысль. В этот момент до поэта Милославского дошло, что Булат О. обращается к нему с каким-то вопросом, и, видимо, уже не в первый раз. "Батенька, у вас нет с собой никаких антацидов? - мучительно шептал сосед,- может быть есть сода? За кого голосовать, дружок, я их никого не знаю! Я эмигрант с Арбата!" - по привычке добавил он.

"Я вам не "дружок"! - отдельно выговорил Милославский. - Нажмите любую кнопку, а впрочем, выбирайте женщину!" Милославский сокрушенно махнул рукой и приготовился к развязке.

- Чего же вы?! - переспросил он Булата О. через минуту, когда в пятый раз подряд имя преемника Назыма Хикмета загорелось под потолком.

- Слушай, кацо! Ведь я был уверен, что Менделевич - это и есть эта крохотная женщина, - удивился тот в свою очередь. - Восхитительное создание! И что, уже ничего нельзя изменить? Вот потеха!

Оставался еще третий кишиневец, очень прошмакодявкински настроенный, но его выбор уже ничего не значил! Залу было ясно, что на конкурсе редчайший, изумительный по красоте случай полной ничьей! И решать этот спор будет сам министр маккавейской культуры, который уже поднялся к пульта и во все стороны церемонно раскланивался. Увы и ах! Судьбу нобелевского конкурса решали не поэтические тропы! Министр оглядел трех призеров и глубоко задумался. Изю всей этой тройки на поэта больше похож этот нервный всклокоченный армянин! Не просто "на поэта"! Менделевич был похож сразу на всех поэтов, которых министр в своей жизни знал! Мятежный, маленький, всклокоченные кудри - тот же русский Пушкин, тот же Авидан, тот же Ури Цви Гринберг! А может быть, и сам министр Перес в юности! Поэт-террорист из кибуцной группы захвата. Много иорданской воды утекло с тех пор! Министр улыбался своим мыслям и загадочно молчал. Он вообще не любил произносить вслух фамилии русских евреев, потому что все-таки родом был из Вроцлава, и лет десять ушло на то, чтобы научиться выговаривать их на иностранный манер. "Менделевич" - ткнул министр пухлым указательным пальцем.

"Менделевич, Менделевич, Менделевич!" - засияли электронные надписи.

"Менделевич?!" - шутливо нахмурившись, прокричал в микрофон ведущий.

"Менделевич!" - ответил зал.

Тысячи голубей, тысячи голубых шаров взмыли в воздух и в панике заметались под потолком. "Заказываем паспорта и летим в Боливию!" - счастливо проорал мне на ухо откуда-то взявшийся Григорий Сильвестрович.

Сводный ансамбль скрипачей был выведен на главную сцену, взметнулась дирижерская палочка, зал встал, но ничего этого Михаилу Менделевичу увидеть не пришлось! Потому что уже несколько минут поэт-лауреат Менделевич лежал в кабинке мужской комнаты, задушенный собственным ультрамариновым галстуком! А его убийца - религиозный маньяк и ревнивец - беспрепятственно вышел в грохочущий зал, разыскал Григория Сильвестровича Барского и меня и, как ни в чем не бывало, поздравил нас с победой.

1989. Иерусалим